

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот и начал из меня понемногу вытекать город. Правда, разговора с природой ещё не случилось, и моя мечта прокатиться на долблёной лодке по озеру остаётся мечтой, как и потребность залечь с любимыми книгами, без которых скоро спячу. Хотя хуже всего, что как раз не спячу и что состояние это может длиться вечно. Что жить ожиданием становится привычкой и словно доказывает, что можно обойтись без дорогого. Потому и беспокоюсь: главное следует делать, не откладывая, пока молодой и можешь свернуть горы.

Хотя к горам ещё надо пробиться. В городе меня доконали пробки и машина, вещи вроде бы подсобные, но так лезущие в жизнь, словно метят в заглавие. Ползимы простояли морозы, и каждый раз утром на заводке в моторе что-то брякало. То ли цепь растянулась, то ли ослаб какой-нибудь натяжитель или успокоитель. Словечки, конечно, расчудесные, но лучше,

чем всякие “иммобилайзеры”. Так вот... Оказалось, что на сто пятидесятой тысяче надо менять цепь. На работе шли невероятные проверки из образовательного надзора, да на выходные предстояло ехать в Минусинск в музей Мартыянова. В автосервисе на меня посмотрели хищно и сказали, что надо “разбирать лобовину”. Через полтора часа требовалось встретить на вокзале директора школы из Канска... И всё это каждый день. В таком духе длилось до весны, и я понял, что если так пойдёт, то мне самому понадобится “разбирать лобовину” и “менять успокоитель”. А может, и “натяжитель”. Пусть успокоит нервы, либо натянёт так, чтоб не брякали. А потом ушёл мой любимый директор, Иннокентий Александрович, сказав: “Извините, ребята, вы как хотите, а я участвовать в убое образования не собираюсь. Да и преподавать постоянное осуждение эпохи, страны, людей по писателю Солженицыну не намерен...”

Я думал, что меня хоть здесь отпустит. Не в смысле, что беды России отойдут, а что я сам успокоюсь и окрепну. Когда случается что-то возмутительно-несправедливое, со мной происходит следующее: внутри моей головы, с обратной стороны “лобовины”... с внутренней... ну, как объяснить-то? Короче, у меня будто есть некая внутренняя крышка лба. И, когда я волнуюсь, эта крышка начинает отделяться, отслаиваться, появляется двойное чувство черепа, будто там две пластины, и меж них проливается горячая жидкость и постепенно опоясывает всю голову. Проливается, жжёт и врезается в мозг, как петля из троса... Это происходит, когда я слышу некоторые слова, например, “успешность” и “толерантность”.

Всех почему-то интересует, *кто именно* разрушает Россию. А по мне, как их ни назови, главное, как *ты* можешь *им* противостоять. Времени-то нет на расследование. Да и расследовать особо нечего: есть черти внешние, есть внутренние. А есть некий мировой сквознячок, куда они нас тянут, хотя безбожники и Иоанна Богослова не читали.

Уже прошло три недели, а я только сел за стол, чтоб хоть что-то записать. И всё жду, когда наконец настанет то, ради чего я сюда приехал: покой, тишина, разговор с тайгой. Картина чудная, долгожданная, но настолько измученная ожиданием, что я уже не за себя, а за неё переживаю, что перекосятся, заветрится, пересохнет без подтверждения и, не дай Бог, сорвётся с гвоздика...

Но всё равно... Представляю берег, идущий в какой-то счастливой растерянности снег, и я бреду с ружьём по обледенелому галечнику. Потом поднимаюсь на гору сквозь тальники и чернолесье и вижу среди густых, высоких и остроконечных пихт озеро. И я плыву по озеру на *ветке*, долблёной лодке, по чёрной предзимней воде, и медленно-медленно падает снег, огромные, как созвездия, плоские снежинки... Они встречаются со своими отражениями и сами в себя проваливаются, сходят на нет, самопоглощаются и множатся, множатся вокруг тысячами соединений-исчезновений.

Время до первого сентября прошло в хозяйственных заботах. Домишко, который мне выделили, неплохой, но пришлось не только повозиться с печкой, но ещё и баню поделать — не знаю, как тут мылись, не говоря о парилке. Откопал яму и, когда таскал глину, так вдруг захотелось читать, что едва закончил умазывать печку, даже не отмыл дочиста руки — глина так и осталась на верхней стороне кистей, в основаниях ногтей. В тепле кисть начало стягивать с такой бережной и спокойной силой, что показалось — трудовая и древняя наша земля пожала мне крепчающую руку.

С лодкой, слава Богу, решилось, сосед дал напрокат старую “обушку”, я поставил мотор и всю борозжу Енисей. Воровства здесь вроде нет. Бачки и ключи оставляют в лодках.

У меня все старшие плюс классное руководство — седьмой класс. Здешние дети сильно отличаются от городских. Скромней ли, замкнутей... и одновременно беззащитней. Особенно девчонки. Седьмой класс самый трудный — они уже вполне большие, чтоб не бояться учителя, и ещё недостаточно мудры, чтоб относиться к нему как к человеку.

В городе нет такой границы между школой и остальной жизнью. А в деревне школа — отдельный мир. Представьте осень, дожди. Дрызг невозможный. Грязища, взрезанная, вспоротая гусеницами, жирно из-под них прущая... Кофейная, шоколадная каша, по которой хлещет дождь, и она оплывает водой, блестит, как лакированная. Трактор прёт на санях продукты с пароходишка, что еле ткнулся в берег: сумасшедший ветер дерёт реку огромным зазубренным рубанком, так что судёнышко едва не выбрасывает на камни. Накат коричневый. Чуть поодаль длинно ползёт извилистая полоса пены. Капитан на взводе, глава села в плащ-накидке недоволен с недосыпу: всю ночь принимал солярку. То кричал, бегал, а теперь замер в оцепенении, под плащом подперев локтем бок и образовав нечто угловато-нелепое. Хозяйка груза носится с размокшими фактурами: “Двух ящиков не хватает! А это вообще не моё. Где же “Бристоль”-то эта?”

Поодаль на берегу — деревянная лодка на плавничных бревёшках-покатах, возле неё бородатый мужик приваливает камнями углы брезента, которым накрыт груз. Он охотник и должен был уехать в тайгу, но отложил заезд: в такой вал от берега не оттолкнуться.

Грузчики, молодые ребята, разгружают картонные коробки с консервами. Мокрые от дождя, те рвутся с углов. На камни валяются банки с тушенкой и сгущенкой, белея донцами. Наклейки отлепляются поясками. От ударов о камни банки мнутся бессильно, мягко, беззвучно — базальт как-то запросто глотает-гасит звук. Камни холодные, меж них торчит арматурина, которую весной намертво всадило-заклинило льдом. Грузчики берутся за муку, мгновенно белеют. Один недотёпа роняет мешок как раз на арматурина. Долговязый парнишка с чуть ассиметричным лицом рывкает: “Кого тянешь, ворона! Вверх подымай! Насадил дак...”

Наконец, сани загружены, загромождены шатким и тяжким штабелем. Трактор дёргает по мокрым камням, вздирая, высекая сухо-серую крошку. Сани вздрагивают, проскребая по булыганам, прихватив гальку и катя её между полозом и камнем. Добираются до грязи и, встав в нежные ложа, облегченно скользят, оставляя масляные желоба. Трактор бежит проворно по коричневым жилам и, заезжая в лужу, гонит перед собой коричневую волну.

Ребята стаскают коробки в склад, придут домой, сбросят в сених угвазданную одежду, сапоги и верхонки под материн крик: “Ку-у-уда страхоту эту? В баню! В баню всё!” Вступят в домашнюю жизнь. Тепло печки, белёные стены, половики-дорожки. Уют, который заслужить надо. Как передых.

И тут вдруг длинное белёное здание с большими кабинетами и дневным светом. И жизнь в нём совсем другая, можно назвать её несправедливо чистой и тепличной, но я вас уверяю: она очень настоящая. И она, эта жизнь, полностью отличается от всего, что вокруг. Ведь как бывает? Собирались на покос метать кошны, а дождь посыпал, и всё сорвалось. Или по сети с батарей дёрнулись, но вал пошёл, и никуда не поехали.

В школе такое невозможно. Здесь, если урок в полдевятого, то ветер хоть изревись, урок будет в полдевятого. И хоть дождь исхлещись, извались снег, но так же горит дневной свет, так же готовится завтрак, пахнет чуточку подгоревшим молоком, и так же идёт дежурная учительница с ручным колокольчиком и звонит на всю школу.

Школьников здесь домашние называют *учениками*. Зашёл к одному мужику за столярным угольником. Он долго его искал: “Галя, угольник не видала? Найти не могу. *Ученики* куда-то утащили”. Слово он произнёс с особой ноткой — “ученики” предстали как некая весёлая и беспорядочная сила.

В “моём” классе *учеников* двенадцать человек. Конечно, это меньше, чем в городе, и с таким количеством работать вроде бы и легче. Но времени тратишь ровно столько же. И придя домой, надо управиться с дровами, а многим учителям ещё с коровой или козами, да ещё обработать рыбу, засолить капусту и картошку убрать, пока солнце. И это только осень. А что будет, когда снегом завалит и морозы прижмут?

Ещё наблюдение. В городе и перед учителями, и перед учениками ты выступаешь в одном-единственном экземпляре: тридцатилетний учитель русского языка и литературы Сергей Иванович Скурихин. Всё. Вышел за дверь

шлы и растрворился в городе. И что ты для кого-то просто Серёжа, сын ли, товарищ, никто в школе не знает. Для домашних же Серёжа никак не пересекается с Сергей-Иванычем. А здесь... Здесь они настолько перемешаны, переложены друг другом, что я и сам теряюсь. Выйду из школы, и тут же те, кто звали Сергей-Иванычем, кричат: “Серёг, накинь трос!” Хотя женщины и в посёлке официализируют: “Сергей Иваныч”. Могут одновременно с двух сторон окликнуть и так, и так. На разрыв.

Я никогда не задумывался, кто я из них на самом деле. И не привыкну, что в одном человечьем пространстве есть учитель Сергей Иваныч, молодой учитель, и есть Серёжа, новый житель посёлка, который два часа маслал мотор под угором, потому что перепутал свечные колпачки, потому что их забрызгало волной, потому что сдуло ветром кое-как надетый капот. Потому что раздолбай.

А к ветру привыкаешь. Когда на улице работаешь — раскаляешься под его напором, как в горне. А потом приходишь в тепло, и тебя краснорозжего развозит, морит, едва сядешь за стол и уткнёшься в тетрадь или книгу. Никогда не думал, что настолько бессилен перед осоловелостью. В городе по-другому: заражаешься общим нервным тоном и на нездоровом бодряке живёшь до поры. Угар этот только потом вылезает.

То, что меньше учеников, облегчения не даёт, просто каждый подвигается ближе, становиться огромней и, разросшийся, встаёт со всеми заботами, друзьями-приятелями, дровами, печками, ершиными баночками и петлями на зайцев. С горящим от ветра лицом и глазами, слипающимися при виде букв. И понимаешь, насколько всеильна эта жизнь, мокрая, снежная, ветреная, когда обхватывает, облегает, пронзает, едва вышел из тёплого класса на школьное крыльцо. И когда дождь и тьма дышит... Хотя, конечно, есть вещи, которые не меркнут. Это русская литература.

Которую, сократив в часах, вывели вон из главных предметов, и по ней нет обязательного выпускного экзамена. Предмет, конечно, оставили... на птичьих правах. Так... из одолжения... в порядке “ознакомления” с направлениями культуры. Но несмотря на планомерный убой образования, в школе, как и везде, всё зависит от личности. Злая воля, возведённая в систему, не настолько непобедима, как казалось Иннокентию Александровичу. Она равнодушна, механична и безлична, и это её слабое место. От учителя требуются только “показатели”, его никто не проверяет и не запрещает преподавать традиционные для нашего народа ценности. Но таких охотников единицы, и система спокойна: её сила в том, что большая часть учителей — дети школьного стандарта и телевизора. Они, конечно, скажут: образование нужно. Но не для того, чтобы сделать нашу землю лучше, а чтобы “стать успешными”.

Работа учителя — источник вечной опасности. Я всё время жду новых ударов, и живу по-двойному: хочу, чтобы всё уладилось, и одновременно пытаю режим на шивость в надежде, что он проговорится, обнаружит себя во всей красе намерений. А он прячется за простых людей, и даже в его уступках я вижу обман и опасность. Я никогда не предам его перед иноземцами, но в душе не верю в него, как в их же детище.

Меня в этой передрыге больше всего интересует, что значит быть русским. Причём не столько даже по паспорту, сколько глубинно, *духовно*. И как эта глубь преломляется в повседневной жизни, в работе. Когда я работал в Октябрьской гимназии нашего города, глубь эта преломлялась трудно и вскоре потребовала новой шири и знания. И я, обессиленный, попросил отца переговорить со старинным его товарищем из министерства и переправить меня на Север. И вот я тут и думаю, что значит быть русским, и насколько я достоин этого звания. И так крепко думается под шум северо-западного ветра, средь великой географии таёжных рек и гор, что в голове моей нарисовалась некая даже карта. Как есть, к примеру, карта населения, где густым чёрно-коричневым цветом обозначены места скопления людей, а бледно-жёлтыми — узкие ленточки заселённости вдоль великих сибирских рек и Транссиба к востоку от Читы.

Крестьянство и староверчество таких удалённых мест, как Енисей и Ангара, всегда хранили в себе наибольшую нетронутость обычаев, языка, ремёсел, всего того дорогого, что и составляет наше национальное достояние. В то время как в городах вроде Москвы этого и в заводе нет, а те, кто дорожат там русским миром, даже намёка на погоду не делают. Поэтому карта русского духа России выглядит нынче, как обратный портрет карты населения: в наименее населённых местах мы наблюдаем его наибольшую густоту.

Моё решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться силы и разглядить душу простором, было вызвано желанием отпиться этим взваром незбылемости, вековечно питавшим нашу литературу.

Обратимся к карте, следуя которой Красноярск выглядит как некая промежуточная точка средней румяности. Меня интересует, кто же я такой по отношению и к столице, и к этой зажатому меж водой и рекой посёлку? Предлагаю наложить на карту ещё одну ипостась — скажем так: участие населения в уничтожении системы национального воспитания. Заранее договоримся, что нас интересует население русское и местное, так как заезжие этносы тема отдельная и особая, да и спрос с них иной.

Так вот, есть столичное чиновничество, подрезающее наши жизненно-важные жилы путём бюрократизации образования, подмены дела разговорами об “инновациях”, перевода внимания учительства на побочные вещи. Обозначим его кружком белого цвета. Есть школьный учитель из центра страны, оказывающий ему посильное сопротивление. Обозначим его кружком чёрного цвета. И есть учительница из далёкой деревеньки. Вопрос: каким цветом мы её... припечатаем?

Но для начала надо с собой разобраться. По отношению к столичному духу я крайне русский, что подразумевает, кроме взглядов, ещё какой-то покров, склад, который ни с чем не спутаешь и по которому всегда узнаешь русскую провинцию. Но вот носитель “покрова” попадает в северный посёлок. И по отношению к местным выступает двойко и противоположно. С одной стороны, я для них — как для меня москвич. Во мне меньше бытовой народности, и у меня слабее мозольная связь с землёй. При этом я более русский идейно и политически, и нелепо выступаю как миссионер в своём же полку (дожили!), несущий *мировоззрение*, требующий осознанной русскости по всем осям и чётко отделяющий её от обычной простонародности.

Возьмём моё окружение. Валентина Игнатьевна Степанова. Директор школы и учитель английского языка. Очень солидная. Из потомственной местной крестьянской семьи. В отличие от многих, верна укладу, живёт в родной деревне, всё, что связано с крестьянским, покосным, огородным — всё её. Поселок для неё — центр вселенной. Она говорит “повешать”, “маленько”, “ложить”, может завернуть ученикам, что у неё “уже мозоля на языке повторять” им одно и то же. Доит корову, поёт застольные песни и до мозга костей народная. Но при этом она постоянно смотрит телевизор, не читает Достоевского, не верит в Бога и честно повторяет спущенные сверху русскофонские разнарядки, не подвергая их какой-либо критике и относясь к ним, как к производственной инструкции. При слове “православное воспитание” каменеет, мрачнеет, отвечает по уставу, что “вероисповедание” — это “личное”, “что каждый сам пусть себе выбирает *религию*”. Она музыкальная, у неё хороший голос, она поёт “караоке”, но если в деревню придет гармонист, то закинет это караоке “в-под угор” и выберет родное, да ещё и споёт уморительно частушку: “Пляшет дедушка Трофим — один бродень, друтой пим”.

Распространённый тип мировоззрения: сочетание народности, атеизма и напыления западной идеологии. Насколько глубоко это напыление, меня и беспокоит, так как школа — дело нешуточное, и от неё зависит будущее. Что ещё? Работу Валентина Игнатьевна выполняет хорошо, и что главное — в сердцевине души, физиологически отторгает она антинародный курс и по-настоящему любит Россию. Единственное, что ей можно предъявить, — послушное проведение идеологических установок министерской верхушки. Вот и вопрос: кто из нас более русский? Ответ: вопрос глупый. Почему? Потому что всё то, о чём писали наши мыслители — и Уваров, и ранний Тол-

стой, и Достоевский, — это идея. А идея сама по себе не рождается, она приходит из прочитанного и услышанного. И в том, что Валентина Игнатьевна не читала графа Уварова, виноват кто угодно, но не она сама.

Про географию русского духа я могу рассуждать бесконечно, поэтому перейду к ученикам. В классе особенно яркими мне кажутся трое: Агаша, Яна и Коля Ромашов. Агашу все зовут Агашка, но не грубо, а ласково, от избытка симпатии, и я, несмотря на школьный этикет, буду её так и называть. Она беленькая, с невозможными глазёнками и улыбкой. Выглядит моложе, совсем ещё по-детски, но характер у неё крепенький. Улыбается она несусветно, будто её всю расширяет от каких-то оживлённейших отношений с жизнью. И от смущения, и от какого-то просто факта собственного существования. Когда она сама из себя выглядывает, прохождение границы с миром вызывает небывалое веселье и смущение. От её улыбки и в тебе всё начинает улыбаться, и приходится собственную улыбку прятать, чтоб девчонка не подумала, что перед нею дурак. У Агашки под нижними веками две полосочки, веки будто подчеркнуты, и даже когда она и не улыбается, кажется, что улыбнётся вот-вот. Она и живёт на грани срыва в улыбку, сама об этом не зная. Тем более девчонка она серьёзная. Но очень бы не хотелось, чтобы улыбка эта у неё прошла.

Мама у Агашки — учительница английского языка и директор школы, та самая Валентина Игнатьевна. Статная, с монументальным лицом, красивым, гнутой линией взятым, лепным подбородком. У неё белая незагорающая кожа в чуть приметных веснушках. В детстве такие веснушки напоминали мне крапинки на манной кашке. Выражение её лица строгое, официальное, но иногда она вдруг улыбнётся широко и ярко, и становится понятно, откуда улыбка у Агашки. Муж Валентины Игнатьевны, Агашин отец Матвей — охотник и рыбак. Но не из тех фанатичных промысловиков, что приехали с материка по мечте и трудятся в дальней тайге безвылазно, а ближнего боя, более поселковый, более крестьянски-хозяйственный, универсальный, и ещё и выпивке не чуждый. Участок у него неподалёку от деревни. С виду Игнатьевна и Матвей не сильно подходят друг другу, но, говорят, семья очень дружная.

Яна — эвенкийка по матери, хрупкая, похожая на котёнка, с огромными зелёными глазами и выражением какого-то беззащитного в них удивления. За таких страшно, аж сердце сжимается, как представишь, если пьянка, мат и если попадёт куда-то в город или, хуже того, на подступы.

Коля Ромашов — со стержнем парень. Ведёт себя в школе сдержанно, сумрачно, хотя сумрачность мгновенно может перейти в тумак товарищу и тут же вернуться обратно вместе с комичным выражением мгновенной образцовости. Школьную жизнь он не то что не разделяет, а так... терпит по закону силы. Ощущение, что у него, кроме обычных подростково-школьных дел, есть нечто более главное. Выражение его взгляда можно назвать наглым, но это не наглость, а какая-то врожденная уверенность... Будто он тебя не то изучает, не то проверяет. На ту же стать. Я сгущаю краски, но ощущение есть.

Он такой долговязый, как щенки овчарок бывают, с большими лапами, ноги чуть с кривинкой, но с живописной, дающей округлость шагу... Ходит вразвалочку, с потягом... А вот лицо... Как сказать? Когда дают портрет человека, помогает какая-то главная черта, вроде большого носа или сросшихся бровей. Когда таких черт нет, что чаще всего и бывает, а внешность типичная, знакомая до боли, труднее всего. Скажешь “лицо длинное” — обязательно представится баклажан. А у Коли оно только чуть длинноватое и чуть шире к низу, и чуть несимметричное, и чуть губастое, и чуть щекастое. И нос тоже совсем слегка утиный. Черты эти только намечены, а общее выражение дают глаза — серые, с металлической мутинкой. И смотрит он с оттенком сочувственного превосходства, связанного, конечно, с бытовой стороной, в которой он меня намного сноровистей. Если Агашка выглядит моложе, то Коля, наоборот, старше. Живёт он с матерью без отца. Коля нравится Агашке.

В нём какая-то есть не по возрасту холодника. Детишки все светятся детством, а его душа будто отгорела. И будто отсиявшую эту заготовку опу-

стили во что-то охлаждающее, плотное, и она, отшнпев, стала крепкой, но остывшей. Я, помню, в детстве тянулся к яркому, цветному, тяготился будничным, казавшимся серым, в один тон: тряпка, ведёрко, телогрейка, калоши, кусты. А этот, наоборот, туда и правит, где неразвлекательно, где серость и сталь, туда только и идёт, и рыщет безошибочно, будто знает, что здесь корень движения. Словно тут ему и ход, и эти точки размягчения лишь его и пускают, а перед остальными смыкаются намертво.

Коля заправски ведёт себя даже со взрослыми мужиками, здороваётся, небрежно выбрасывая руку чуть по дуге наружу, будто целит в серёдку тела, а потом, так и быть, отводит. Стоит невозмутимо, перебрасывается словами, дозируя своё участие небрежно и взвешенно. Всех будто упреждает, охлаждает, видит дело насквозь и заранее. Мол, не обольщайтесь. Доску сушат: “Пессь. Порвёт!” Речушку приморозит с устья: “Да оторвёт её”, — про сено, плохо смётанное, по его мнению: “Загорит”. С ребяtnей разбирается в два счёта, походя и не глядя, выстреливая на одной ноте: “Э, стоп! Слышь, ты, чучело, ещё раз увижу коло своей лодки — уши оборву, понял? Пшёл отсюда”.

Коля очень цепкий, приметливый. Он частенько проходит мимо моего дома — то на озеро, где у него баночки, то с ружьишком. И если я что-то делаю, колю дрова, например, то при нём обязательно чурка либо упадёт, едва занесу колун, либо окажется витая и сучкастая. И я, зная, что её надо перевернуть другим торцом, не переворачиваю, чтобы меня не заподозрили в том, что сразу не углядел, откуда колоть, и вообще в неумелой возне и лишних движениях. И в итоге дуплю по самому сучку и умоляю, чтобы не соскочил колун, который третий день собираюсь пересадить.

Коля подходит именно в такие минуты. Поэтому, если даже работа ладится, я, завидя его, с деланной неспешностью кладу топор или колун, будто давно хочу перекурить и рассчитываю на разговор. И начинаю выдумывать тему и почти заискивать. Или оставляю намертво засевший топор в чурке, чтобы будто бы прикрикнуть на соседскую собаку. Когда Коля подходит, чурка продолжает, расходясь, предательски пощёлкивать, и он на неё косится и брякает: “Щеляется... Чо, засадили?” И в этом “щеляется” столько же одобрения и восхищения чуркой, живущей своей таинственной и справедливой жизнью, сколько и моего убывающего авторитета. То же самое происходит с засасыванием бензина из бочки или завязыванием узла, разновидность которого я ещё сам путём не выучил.

На том краткое знакомство с действующими лицами заканчиваю и приступаю к действию, которое предварю маленьким пред-событием.

У нас каждый ученик имеет своё увлечение. Яна хорошо рисует, и мы устроили её выставку, которую она открыла бойким заявленьцем:

— Я увлекаюсь рисованием. Я хочу развиваться, расширять мой внутренний мир, хочу достичь хороших результатов, чтобы быть успешной!

В лобной части моей головы я почувствовал лёгкое шевеление, будто тёплая птичка встрепенулась, и её известково твердеющее крылышко уже отделилось частью моего черепа. Я осторожно накрыл её ладонью и держал, пока она не затихла. Ладони я не отпускал до конца мероприятия, и всё приговаривал: “Ну, тихо, тихо, хорошая, ну, пожалуйста, ну, дотерпи до урока, а там я тебя выпущу, и полетишь... Куда захочешь”.

На ближайшем уроке я всё объяснил: слава Богу, Николай Василич всегда под рукой... И, конечно же, вывел ребят на разговор об успехе, познакомив с “Портретом”, и это была победа. Как же не любить после этого русскую литературу! Прибежище наше, силу которого супостаты в полной мере не понимают, хоть и подбираются. Словно наши классики заранее заложили укрепления по всем направлениям. И их огневая светоносная мощь автоматически крушит любую установку противника. Успешность — на тебе “Портрет”, безбожие — на “Карамазовых” и “Лето Господне”, толерантность — на Бунина, вообще лезешь — на “Тараса”!

Позавчера на уроке литературы произошёл разговор. Передаю его схематично и без описания интонаций и прочего реквизита. Из шепотка, пришедшего с перемены после английского, я почувствовал какую-то перепорх-

нувшую в класс заварушку. Оказалось, Коле Ромашову поставили двойку по иностранному, и он сказал кулуарно, что ему “на фиг не облокотился этот английский”. Я, будучи по большому счёту согласен с Колей, не моргнув, произнёс:

— Яна, а скажи, пожалуйста, зачем нужно учить иностранный язык?

— Ну... чтобы это... знать... Ну, сейчас много на иностранных языках... ну... информации. Ну, и это может пригодиться, ну... если на работу устраиваться. Или если эта... поедешь за границу.

— Коля, а ты скажи?

— Тут дядя Паша мотор взял “тохача-полтоса”, а там в книжке всё по-нашему. Завал... — все хохотнули.

— Завал разгрести... Ну, спасибо. Садись... А я хочу вам историю рассказать. Про одно слово. У нас урок литературы. Да? А есть такое слово “беллетристика”. Слышали?

— У-у.

— Беллетристика — это то же, что художественная литература! Синоним. Помните, что это такое? Происходит от двух французских слов “бельль” и “леттр”, если буквально: “красивые письма”, “красивое письмо”.

Я рассказал, как изменилось значение слова, и беллетристика из изящной словесности потихоньку превратилась в литературу не лучшего свойства:

— Получилось, беллетристика, когда только пожаловала к нам в Россию, имела значение большое, высокое, а потом сдала позиции, превратилась во что-то третьего сорта. Вопрос: почему?

Ребята замялись.

— Да потому что русский язык его победил! Оно не подошло! Сдалось! Я прямо вижу его: было такое гордое, как наполеоновское войско, а стало третьесортное, обтрёпанное, обмороженное... Беллетристика... На что похожа?

— Ерундистика!

— Белибердистика... Может, и по звучанию не подошло. Ведь есть уже и словесность, и литература! Они её не пустили! Но — теперь внимание! — обо всём этом мы бы не догадались, если бы что? Если бы не знали французских слов “бельль” и “леттр”. Значит, иностранный язык нам нужен для чего? Чтобы лучше узнать и полюбить наш родной русский!

— Но у нас так-то английский по программе, — сказал Вася Феоктистов, большой увалень, любитель размеренности и противник всякого отклонения.

— Да какая разница? Ты чо такой, Ручник? — пнул его Коля локтем, страшно оскалившись и тут же повернувшись ко мне и сложив лицо в образцовую гримасу. Видно, что у него счёты с Васей, который смешит медлительностью.

— Сергей Иванович! — потянул руку Лёня Козловский, отличник и до-тошный ученик. — А слово “литература” тоже происходит от слова “леттр”? Оно тоже ведь иностранное!

Класс весело насторожился.

— Совершенно верно, Лёня! Молодец! Ты почти прав. Но только слово “литература” — древнее латинское, которое на равных правах вошло во все языки. Точнее даже “литера”, то есть буква. А если общёе — то письменность. И многие учёные действительно считают, что “литера” от латинского слова... Но есть и другое мнение... Слово “литература” появилось у нас в восемнадцатом веке. Ну, примерно вместе с книгопечатанием. Когда додумались брать штампы отдельных букв и с них печатать книги. Так вот, скажите мне: а как получали эти самые штампы готовых букв? Из чего они, кстати, были сделаны?

— Из свинца, — сказал Ваня.

— Ну, не из свинца... Но правильно — из металла. А как их получали?

— Отливали.

— Правильно, Лёня. От-ли-вали. А это от какого слова? Ну, Яна?

— От слова “лить”.

— Правильно, от слова “лить”. То есть буква, литера та самая, от которой идёт слово “литература”, могла вполне произойти от слова “лить”.

“литё””. Почему нет? Поэтому, — подвёл я итог, — чтобы во всём этом разобраться, нам надо очень хорошо знать нашу историю и историю нашего языка, и нашу ли-те-ра-туру...

На этой ноте мы закончили нашу беседу, а сегодня в учительской Валентина Игнатьевна сказала:

— Сергей Иванович, я хотела с вами поговорить. Да. Прямо здесь. У меня секретов нет.

— Да пожалуйста!

— Скажите, пожалуйста, почему вы говорите, что не нужно изучать иностранные языки?

Я не сомневался, что Агаша передала маме нашу беседу. Но для порядка ответил:

— В смысле?

— Сергей Иванович, вы на своём уроке сказали, что иностранный язык не нужен.

— Валентина Игнатьевна. — сказал я уверенно и доброжелательно. — Во-первых, я этого не говорил, во-вторых, если бы я даже так и считал, то учительская этика мне не позволила бы вас так... ну, в общем, поставить под сомнение преподавательскую деятельность своего коллеги и, тем более, руководителя, а в-третьих, я могу объяснить, что именно я имел в виду.

— Да уж, пожалуйста.

— Я как раз защитил ваш английский. Потому что один ученик усомнился в нужности иностранного языка после вашей двойки. А после нашей беседы всё наладилось. Я показал на примерах, что иностранный язык помогает нам узнать свою Родину, а именно одну из её важнейших составляющих — русский язык!

В учительскую зашла учительница информатики, молодая красавица с длинными светлыми волосами и льдистым именем Лидия Сергеевна. Она так хороша, что почти не красится, и ресницы её остаются природного цвета, и от этого какая-то дополнительная нежность, воздушность в них, что-то от птичьих крылышек... В её присутствии меня будто током продёргивает, и хочется говорить ярко и сильно, в общем... токовать. Она, между прочим, разведённая и воспитывает мальчика. У неё отличный слух, и она большая выдумщица на всякие концерты и номера.

— Продолжайте, продолжайте, у нас секретов нет. Садитесь, Лидия Сергеевна. Хорошо, как раз. Продолжайте. — Валентина Игнатьевна сидела, чуть изломив грузное своё тело и прямо держа красивое лицо со скульптурным подбородком. Выражение сдержанности, видимо, в её природе, хотя с очень близкими людьми, например, с учительницей химии, Екатериной Фроловной, она ведёт себя намного теплее и живее, но это как-то отдельно от школьного.

О Екатерине Фроловне, пожилой маленькой женщине, необходимо сказать особо. Кроме её отчества, на котором запинаятся почти все ученики, произноса кто Екатерина Флоровна, кто Екатерина Фторовна (за глаза), она примечательна удивительной душевной теплотой и врождённым чутьём к важному. У неё очень учительская внешность: пучок и толстенные очки, какие носят близорукие люди. Они будто мензурки и кажутся склеенными из двух стёкол — верхнего и донца. Глаза в них выглядят маленькими и плоско впаяны в верхнюю поверхность, особенно если смотреть сбоку. И кажется, если их снять, то глаза снимутся вместе с очками. Однажды на перемене я оказался в коридоре напротив её кабинета. Она вышла из класса и в какой-то замедленной рассеянности проговорила, снимая очки и вытирая огромные, босые и мокрые глаза: “...Детишки... невозможные... — покачала головой, — аж прослезилась...”

Вернёмся к Валентине Игнатьевне. Я уже говорил о её взвешенности и спокойствии. За годы её директорства никто не знал случаев, чтобы она ударила кулаком по столу, хотя многие себе такое позволяли. Поэтому по выражению её лица трудно понять, что она думает. Я, однако, продолжал:

— Мы все знаем, в каком положении Россия. И что любой язык — это носитель национального. И что английский язык, носитель англо-саксонского

национального духа, начал небывало теснить наш родной русский, а с ним и те ценности, которыми наша цивилизация жила столетиями... И что всё очень серьёзно. И что каждому из нас хотелось бы не опунеть от “пуппинга”, и чтобы на магазинах было написано не “фиг-с-прайс”, а что-нибудь русское. Чтобы нас не призывали быть счастливыми вместе с “жокей” и “о’кей”, грубо нарушая правила нашего языка и отменяя склонение существительных. И чтобы вместо холодного слово “ó-тёлъ”, что припёрлось от-теть (Лидия Сергеевна не засмеялась), употребляли тёплое слово “гостиница”, вместо файла — говорили “папка”, и так далее, и так далее, и я думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю.

Я почувствовал поползновение Валентины Игнатъевны возразить, и вынужден был пойти на отвлечение разговора, чего я крайне не люблю, так как нарушается стремительность натиска. Но настолько пересохло-затасканно прозвучали мои рассуждения, что пришлось копнуть на штык глубже.

— Вы знаете, меня просто ошарашило, когда в сельсовете простая русская женщина Вера Егоровна протянула мне какую-то пластиковую папчонку: “Возьмите файл”. — И я продекламировал театрально и в нос: — Возьми-и-те фа-айл. Не возмму-у-у... Возмму-у па-а-апку. — Лидия Сергеевна издала носовой смехок, а я облегчённо продолжил:

— А ведь это неспроста! Такими словами нас пытаются поставить вверх тормашками. Да! Что вы смеётесь, Лидия Сергеевна? Сама по себе папка для хранения бумаг как явление выеденного яйца не стоит, но однако её же нарекли этим идиотическим именем! Таким чистеньким, таким по-своему эффектным и вызывающим целый ряд ассоциаций, ведь за “файлом” обязательно тащится “офис”, “стэплер”, “мэнэжмэнт” и прочий джентельменский, хе-хе, набор... То есть насильно вводимый в нашу жизнь код (не Васька-кошак, а “дэ” на конце, Лидия Сергеевна!), который ничего ни интересного, ни созидательного в себе не несёт, а просто обслуживает бесполезную социальную прослойку... эээ... приказчицкого толка, являющуюся ничтожным приложением к настоящей жизни, и трудовой, и творческой. И именно чтобы оправдать её ничтожность, и вводятся эти чужеродные слова, которые падкая на упаковку молодёжь принимает слишком близко к сердцу.

— Вот сразу... Можно, Сергей Иванович? — вступила Валентина Игнатъевна, вежливо улыбувшись и будто отклонив моё красноречие. Лидия Сергеевна неопределённо улыбалась, прищуриваясь.

— Конечно.

— Сергей Иванович, мы весной были на тренинге в Тундракане, и там как раз всё это обсуждалось, и многие учителя спрашивали: как же вот иностранные слова входят в нашу жизнь... Как быть? Понимаете, есть процессы, которые идут, вот они есть — всё! — она распахнула глаза. — И мы их не можем изменить, поэтому приходится в этих условиях работать, и не мне вам объяснять, сколько всего нынче приходится выполнять... скажем так... рутинного. Ладно... Сейчас не об этом... Мы разговаривали со специалистами, лингвистами, и задавали те же самые вопросы... Как детям объяснить, отчего столько иностранных слов? Сегодня на учащегося обрушивается просто вал информации, терминов, связанных с современными технологиями, и наша обязанность помочь в этом вале разобраться, как-то его ус-во-ить, — она сказала по слогам, — потому что учащиеся сегодня просто не в состоянии переработать то информационное изобилие, которое нынче имеет место быть.

Бывает, оборот восхищает не сутью, а мастерским попаданием в общее место, выражающее нечто характерное о времени, и последние слова Валентины Игнатъевны доставили мне удовольствие именно такого свойства. Она продолжала:

— И мы вместе пытаемся разобраться, объясняем детям, что язык — это гибкая система, откликающаяся на каждое движение времени. Если слово появляется, значит, оно нужно, значит, оно даёт как раз тот оттенок, которого ещё не было. Извините, я просто не могла не высказаться...

— Почти как у Маяковского. “Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...” Действительно, появилось слово, и оно очень точно отра-

жает какое-то особенное содержание, свойственное именно нашим дням, по которому мы безошибочно его узнаём.

— Да, — обрадованно кивнула Валентина Игнатъевна, подняв брови и победно оглядевшись.

— И главное, может зажечься ещё слово, которое откроет ещё один оттенок, ещё одно уточнение, и всегда найдётся для него повод. И предела уточнению нет. Но это, Валентина Игнатъевна, полное заблуждение. Язык, он хоть и наш хранитель, но существо настолько доброе и наивное, что если за ним не ухаживать, то он моментально зарастает дурниной... Как покос... Покос надо расчищать, Валентина Игнатъевна? Надо. Хотя навязывается теория, что пусть зарастает. Так говорят люди, которым либо чем-то мешает наш покос, либо они им не дорожат и относятся потребительски, как к средству посиделок, то есть общения и передачи информации... А не как к хранилищу и вместилищу дорогого... Хотя покос — это не просто лужайка с ларьками и газировкой. Это коровы, живые и тёплые. А если так пойдёт, то нам и спать-то не к чему будет... в минуту тоски по молоку. Да. Так вот, есть свойство слов рас-сту-паться, так сказать, по доброте, и пускать новое слово... Но это происходит не из-за нужности втиснувшегося слова, а именно из-за чисто физического свойства расступаться, как вот, знаете, брусника в воде плавает, и можно сыпануть горстку и ягоды расступятся, может, только какие-то под воду уйдут. Зависит от размера тазика. А тазик у нас подходящий... Поэтому дополнять язык можно до бесконечности, и всегда будет казаться, что у нового слова чуть другой оттенок. А другой он почему? Да по самой природе слова — у каждого слова неповторимый облик, звучание, окраска. Как человек... Людей же нет одинаковых. Суньте в толпу новое лицо, и оно тут же займет у себя своим говорком, запахом, ухваткой. И нужность тут ни при чём. А главное — понимать, зачем эти изменения, какой они несут смысл и последствия. Каким мы хотим, чтоб был наш язык? Были мы? Ну, а теория оттенка... Вот вы сказали “на тренинге в Тундракане”, ну, вот не могу ничего поделывать, не обижайтесь только! Ну, коробит! Неужели нет? Валентина Игнатъевна, ну, только честно? Ну, не то ведь... Согласны?

— Ну, какой вы прямо... — она улыбнулась. У неё очень широкая улыбка, ровные красивые зубы. И улыбка дорогого стоит на фоне её солидности и монументальности. В этот момент в дверь вошла Екатерина Фроловна и, сама по себе нешумная, села особенно осторожно, замедленно, стараясь не шуметь ни платьем, ни стулом. Её приход меня ещё более воодушевил:

— Я, кстати, очень люблю эти эвенкийские названия: Тундракан, Выдракан, на Тунгуске есть посёлок Курумкан, в Прибайкалье, к северу от Усть-Баргузина. Они русско-эвенкийские. От слов тундра, выдра, курумник. А “кан” — это уменьшительный суффикс. Мы с ребятами об этом говорим и через названия изучаем нашу природу. Это к вопросу о языке и мирах, которые он вмещает... Я отвлёкся, Валентина Игнатъевна, и никак не отвечу на ваш вопрос... Мы говорили об опасностях, грозящих нашей русской цивилизации. Так вот, *даже* при этих угрозах я утверждаю: иностранный язык нужен и его нужно обязательно знать! Но только не для того, чтобы граждане удирали за границу и там знание языка им помогло не сдохнуть с голоду! И не для того, чтобы наши дети работали в иностранной конторе, приехавшей в Россию выпиливать наши сосняки, — я уже говорил громко и с ораторским посылом, в котором знаю толк, — или набирались из-за границы педерастии, извините, стяжательской дури и умения грызть русского брата из-за этих чёртовых денег... Да! Я русский учитель! Я хочу, чтобы наши дети оставались в посёлках, таких, как этот, в деревнях и городах, и чтоб они любили свою землю! И чтоб главное для них было не минутная грошовая успешность, намотанная на собственный пуп, о которой без конца талдычат в нынешних школах, а потребность служить своей земле. Вот только для этого и нужны знания! Будь то математика, литература или иностранный язык!

Валентина Игнатъевна продолжала сидеть с монументальным лицом, опустив глаза с подсиненными веками и легонько с какой-то пожилой раз-

меренностью двинга вздв-вперёд подставкой для ручек. В данном свете ко-жа её казалась особенно бледной и были видны рвущечки. А мне хотелось всё больше и больше сказать:

— Знание иностранного языка нужно, чтобы перевести слово “супер-маркет” на русский — вспомнить, что оно английское, отделить иностранное от русского, расклеить, как две бумажки склеенные! А это значит вернуть России русское слово! До чего мы дожили — вместо созидания расклеиваем бумажки! Поэтому я как раз за знание иностранного языка! Чтобы наши дети не повторяли иностранные слова, как свои родные, а, наоборот, чтобы эти слова *продолжали звучать по-иностранному*. Во всём своём своеобразии и красоте! Я даже за то, чтобы иностранные слова писались по-иностранно-му и не притворялись русскими! Но для этого мы все должны па-ни-мать смысл этих слов. И именно вы, учителя иностранных языков, должны помоч! Поэтому вы должны гордиться, какую новую значимость приобретает в нынешних условиях ваш предмет!

Воцарилась пауза. Её недолгое, но тревожное царствование прервала Валентина Игнатьевна, у которой обозначилась вертикальная складочка меж бровей. Откашлявшись, она произнесла:

— Ну, вы знаете, Сергей Иванович, мы, конечно, согласны со многими вашими рассуждениями. Как вам сказать? Я не знаю, что думает Лидия Сергеевна и Екатерина Фроловна, но у меня ощущение, — она торжествующе улыбнулась, оглядев присутствующих, — что нас отчитали.

Лидия Сергеевна продолжала молчать, но слушала внимательно, и меня страшно интересовало, чью она сторону займёт. Я ничего не мог поделать, но чувствовал себя героем “Подростка”, и это то мешало, то, наоборот, укрепляло ощущением Фёдора Михайлыча за спиной.

— Простите меня ради Бога, если это так прозвучало. Мне, правда, неловко. Хотя я простейшие вещи говорил. Атака страшная идёт на русский мир. Ну, если человек, готовивший учебную программу по литературе, заявил в интервью, что дети должны быть “умеренно образованы и ничтожно патриотически воспитаны”? Ну?! Что из этого следует? Что надо защищать *своё* с чётким пониманием происходящего, потому что мы работники образования, — сказал я в тон Валентине Игнатьевне по слогам. — Сейчас всё от нас зависит. Да! От нас зависит, будут ли наши дети русскими или... не пришей кобыле хвост... гражданами мира... — закончил я, как это принято говорить, с улыбкой, хоть оно и звучит ужасно, потому что о себе так не говорят.

— Ну, наши дети и так русские, — Валентина Игнатьевна даже рассмеялась, — кто же в этом сомневается!? Я лично нет. Просто мы хотим, чтобы они вышли в этот мир, вооружёнными не только знаниями, но и подходами, а мир сегодня предъявляет крайне жёсткие требования. Крайне жёсткие... Более того, нынешняя система образования очень гибкая и постоянно меняются стандарты. — Она часто говорит слово “гибкость” в отношении системы образования, и я не понимаю, это искреннее мнение или попытка избежать споров и сохранить мир в школе. — Так что давайте не будем драматизировать, а будем работать сообща и единым фронтом. Работать в рамках нашей компетенции, и дай нам Бог справиться с тем валом задач, которые ставят перед нами новые требования. И не будем решать за тех, кому виднее. Тем более... — и она, подавшись на меня, добавила по-семейному, по-деревенски: — Кто нас когда спрашивал?

— Валенти-и-ина Игнатьевна! Да мы всю жизнь справляемся с валом... Речь-то о другом. Речь о том, что они пытались выкинуть Гоголя из программы. А знаете, почему? Потому что в его произведениях утверждаются истины, прямо противоположные тем, что провозглашаются сегодня на этой земле, — я ткнул пальцем вниз. — Только не пролезло! Народ на уши встал. Но это мелкая победа... Подачка скорее. То, что происходит с образованием, — это *просто* национальная катастрофа. И виднее как раз *нам*, отсюда, из центра России! Если в основу образования взят совершенно иной принцип! Он назван. Либеральный индивидуализм. И его отпрыск, х-хе: успешность. Какая, к бабаю, успешность?! Что за бред? — я артистически откашлялся: —

Э... У микрофона успешный журналист Передачкин. Новости посёлка Усть-Пешного! От слова пешня, кто не в курсе. Чем лёд колотят. И так... Успешный бортмеханик Ключевой-Гайко успешно обеспечил посадку "ми-восьмого" на площадку и передал почту успешному почтальону Посылкину... Успешный кочегар Лопатюк успешно обеспечил штатную температуру в школьных помещениях... Успешная техничка Швабрина успешно провела мокрую уборку актового зала. Успешный рядовой Майоров совместно с успешным пожарником Хоботом и успешным монахом Окладовым провели встречу со школьниками, посвящённую успешности в вопросах гражданской обороны, пожарной безопасности и духовно-нравственного воспитания. Успешный учитель Дневников-Двойкин успешно провёл занятия по повести успешного писателя Гоголя "Портрет", успешно развенчивающей понятие "успешность" в самом корне, как категорию поверхностную и сиюминутную. И катастрофически несостоятельную по сравнению с понятием "служение". — Я выдохнул... — Лидия Сергеевна, вы не согласны? Да что же я вам, коренным сибирячкам-то, объясняю!? Так же можно и до абсурда докатиться! Ведь есть же вещи главные и элементарные! Основы любой цивилизации! Ведь только в американских фильмах побеждает одиночка — враньё полное, и все прекрасно знают, что побеждает дружная слаженная семья! Поэтому: фундаментальные основы. Народность, семейность, ответственность за свою землю, православное сострадание, любовь ко всему этому... — я повёл рукой, — что с детства вокруг, что в наших книгах!... И *добро*, наконец! Ну!?

Лидия Сергеевна, всё это время сидевшая опустив ресницы, наконец вступила в разговор. Очень спокойно и уверенно. И произнесла не "Сергей Иванович", как обычно все делают, а выговаривая подробно, по плиточкам "И-ва-но-вич":

— А я не согласна с вами, Сергей И-ва-но-вич. Какое добро? Сейчас совсем другие качества нужны. Время такое. — И продолжила более высоким, грозящим и предостерегающим голосом: — *Сейчас, если будешь руководствоваться добром, ничего не добьёшься.*

Лобная птичка пошевелила роковым своим крылышком. Ресницы Лидии Сергеевны были опущены, и от этого казалась, что она совсем чуточку улыбается. Бывает, люди говорят важные вещи с такой лёгкой улыбкой, означающей снисхождение, доброжелательный настрой к непонятливому и строптивому собеседнику и умиление собой, и растворение в правильности своих мыслей. К этому прибавлялось ещё и некое ревниво-святое отношение к своей неповторимой, так сказать, поколенческой правде.

— Да что вы такое говорите? Кто же это вам сказал-то? — проговорил я как можно спокойней, и прекрасно зная, *кто* ей это сказал и что это витает в воздухе.

— Нет, — объясняла она, как школьнику, но не поднимая ресниц и чуть расширив ноздри, дрогнув ими трепетно, отчего они порозовели: — Добро — нет. Терпимость — да. — И добавила, повысив тон и ставя точку: — Только так.

— Да вообще-то ровно наоборот, Лидия Сергеевна. — прочеканил я ледяно её отчество. — Только добро и любовь. И полное неприятие зла. Отпор всему, что угрожает этой любви... Всем безобразиям и извращениям... Всему, что угрожает нашим многовековым истинам. Какая терпимость!? Когда тебя выживают из дома, а ты не сопротивляешься? Всегда представляйте наших предков... Что они скажут... Представьте себе... вот триста лет назад...

— Да какие истины? — она говорила негромко и словно между прочим, не особо налегая на слова и с той же улыбкой сожаления о моей безнадежности. Говорила, будто и не прерывалась с момента предыдущих слов, а мои слова ползли понизу иноязычными титрами. — Триста лет: вспомнили, х-хе... Вы хотите, чтоб мы, как какие-то папуасы... которые когда-то там... — она замялась, подыскивая слова. Не помню, чем она завершила своё эпохальное выступление, но "папуасы" произнесены были во всей ясности, истинный Крест... В качестве силы тёмной, бесполезной и символизирующей крайнюю степень отсталости и скуки...

Пестрокрылая таймырская пуночка, по-здешнему “снегирь”, чью трепетную спинку я изо всех сил удерживал ладонью, снова забилась-задрожала, не в силах разжать мою руку, но всё больше меня отвлекая и раздваивая. Я взглянул на Валентину Игнатьевну, но лицо её было непроницаемо.

— Не понял, кто папуасы? Наши предки, в смысле? — сказал я тонковатенько и дробно. — Лидия Сергеевна, вы, видимо, если и вслушиваетесь в мои слова, то не вкладываете в них *их же смысла*... У меня предложение: вы придёте к нам на урок литературы, и я вам докажу, что наши предки были во много раз менее... папуасистыми, чем мы с вами... Там всё сказано. Или, может, литература зря стоит в программе? Может быть, наша великая литература, младшая сестра молитвы, неправильно учит?

Валентина Игнатьевна посмотрела на часы, висящие на стене, и сказала: — Друзья мои, уже много времени... И пора бы поставить точку... Но... Э-э-э... Я не могу объяснить, вроде бы всё хорошо, и мы обсуждаем важные проблемы. И глаза у вас горят, Сергей Иванович, и видно, что вы человек неравнодушный. Но всё равно... я вот... я чувствую упрёк. Конечно, всё объясняется тем, что вы молоды... Но вы здесь человек новый и не приобщились ещё к нашей жизни. Я думаю, вы многое откроете, когда будете участвовать... в мероприятиях... В наших выпускных вечерах... которые для нас всегда итог работы. Я не знаю, как они проходят в городских школах, вам виднее... Но если бы вы знали, сколько на этих прощальных вечерах именно *добра*, тепла, благодарности, дороже которой, поверьте, ничего нет для учителя, — её веки покраснели, — и мы как-то умудряемся обойтись без политики, без розни, по-домашнему, и, мне кажется, именно вот эта домашняя атмосфера и отличает нашу сельскую школу. Что ещё сказать? Сергей Иванович, мы ценим вашу образованность. Спасибо за вашу эрудицию и за ваш такт. Способность слышать других. И раз уж откровенность на откровенность. Вы тут сказали, что вас покорило слово “тренинги”, а меня, скажу честно... тоже кое-что покорило, — она переглянулась Лидией Сергеевной. — Вот я с вами совершенно искренне поделилась ощущением, что меня, наверное, впервые за годы моей работы *отчитали*... Но вы, зная специфику школьной жизни не понаслышке, не моргнув глазом, продолжили вашу лекцию, несколько не сменив... формат. Пусть это останется на вашей совести. И в завершение — давайте всё-таки определим главное, зачем мы здесь собрались... Давайте постараемся сделать так, чтобы взгляды каждого из нас, а они могут быть совершенно разными, не мешали общему делу и оставались личным выбором каждого. Ради наших детей. Вы согласны, Сергей Иванович? Лидия Сергеевна?

— Конечно, — сказал я как можно сдержанней, упихивая, уминая веками, глазными яблоками свою птичку, которая ломилась во все окошки моей души.

— Я совершенно согласна, Валентина Игнатьевна, — вступила Лидия Сергеевна. — Есть личное, а есть общественное. Вы, Сергей Иванович, только что говорили про индивидуализм. А сами... как раз его и проповедуете... Как-то не стыкуется.

— Не понял, что не стыкуется? — я еле сдерживался.

— Вы пытаетесь навязать нам свои взгляды. А взгляды — это только взгляды. И они у всех разные.

— Конечно... Я согласен... — говорил я, изо всех сил стараясь не ввязываться в спор по второму разу.

— Вы сейчас неискренни! Давайте уж тогда расставим точки, тем более нам с вами вместе работать. Умейте признать и свои ошибки... — и она взглянула, наконец, своими большими и одновременно острыми глазами.

— Хорошо, — сказал я трезво и глуховато: — Какие взгляды? Взглядов нет. Есть факты, отражённые в документах. Група лиц транснациональной ориентации ведёт целенаправленную замену духовного базиса нашего народа. На фоне удручающей демографии и экономики. Уж куда общественной? При чём тут личное?

Екатерина Фроловна вдруг пропела:

— Нам-то что делать?

Что-то сорвалось в Валентине Игнатьевне:

— А при том, Сергей Иванович, что это всего лишь ваше видение. Конечно, слава-те, что оно у вас есть. И хорошо, что этот разговор состоялся, и мы лучше узнали, кто, так сказать, “есть ху-из-ху”. Только я вас хочу предостеречь от ошибок, а они у всех бывают, особенно принимая во внимание ваш молодой возраст. Хорошо, что вы переживаете, ищете ответы, и я вам желаю разобратся не только в политике, но и в самом себе, прежде чем делиться своими опасениями с учащимися. И быть оптимистом. Это очень важно, раз уж вы заговорили о традициях. А по поводу взглядов... Повторяю, это дело такое... да... — Валентина Игнатьевна уже устала, — и что-то я ещё хотела сказать... Ммм... — она замялась, постукивая по столу ручечной подставкой, — ць, у меня бабушка говорила: кочерёжкой пошевели в печке, если вспомнить не можешь. — Чем больше она уставала, тем больше в её речи звучало народных слов. — Да! Как раз, к слову, бабушка. Как раз бабушка и помогла! Вы вот говорили о религии... Да, у меня бабушка верила. Но я, допустим, атеистка. Меня так воспитали. Так зачем же вы хотите-то всех под одну гребёнку, в один барак-то загнать? Раз уж вы такие добрые-миренные... то будьте уж... *маленько... толерантней...*

Если бы она не произнесла этих слов, если бы даже она сказала просто “толерантней” или просто “маленько” — всё бы обошлось. Но в этом кричащем словосочетании настолько обострилась всё происходящее в России, что едва оно выломилось на свет, произошло недопустимое. Конечно же, руки мои не опустились, но одна из них ослабла, и вырвалась из неё шершавая птичка, и стала отслаиваться внутренняя клапанная крышка моего лба, а вслед за ней заедать успокоитель какой-то очень важной цепи наболшевого...

А теперь представьте себе выколочный молоток или чекан-бобошник, или даже нет: чеканный пресс с шестизвённым кривошипно-коленным, понимаете ли, приводом ползуна. И что этот кривошипно-коленный привод заел, и ползун работает с дрожью и скрежетом. Вот именно так — тихим, но ледяным и каким-то скрежещущим голосом, че-ка-ня каждое слово, я произнёс:

— Валентина Игнатьевна! Я вас прошу ни-ког-да не произносить при мне таких слов. Извините.

И развернувшись *на каблуках*, вышел, чувствуя спиной, как пересеклись в замешательстве взгляды Валентины Игнатьевны и Лидии Сергеевны.

.....  
Я вышел на берег, где бескрайний металлический пласт воды вёл бесменную шелестящую работу, переливался, мерцал, перемерял сам себя бессчётными серебристыми перстами. Река образовывала гигантскую подкову, а я стоял в её низу, а на той стороне темнел нитью огромный мыс, а правее и левее его вода терялась в фольгово-дымной бескрайности. Взгляд не мог охватить всю панораму целиком, но если слева направо вести очами, то крыла окоёма загибались книзу, и открывалась шарообразность земной поверхности...

Проще было бы одиночеству без этого простора. Непомерная гладь, облака, мощь места были неоспоримы, но теперь красота будто выбрала якоря и легла в дрейф до поры, пока не решится человеческое. И ранящее отдаление того, что ещё вчера было поддержкой, наливало силой, только добавляло боли, и рвано было на душе.

Я прошёл по берегу и медленно поднялся по бесконечной деревянной лестнице на высокий угор. Серебряная гладь подстроилась чутко, изменила угол, зеркало наклонилась ко мне и стало ещё огромней... Скажи ты мне, свет-зеркало, откуда девица наша красная за несколько лет набрала всей этой дури? Какими ухищрениями, какой подкожной инъекцией накачали её, каким, едри его мать, ботоксом вздули душевную кожу до полного онемения? И сколько таких Лидий Сергеевн сидят в различных управлениях образования школьного и дошкольного, отделах культуры посёлков, городков и городов с русскими названиями! Оторвавшись от родной земли, лишившись поводырской её защиты, с какой скоростью полстраны, не ведая измены, превратились во вражых сподручников-разрушителей? И мне-то каково

жить дальше? И что будет, когда нагрянет какой-нибудь обнадзор и будет пытаться меня на рвение в деле воспитания в детях тяги к успешности... А я спою им частушку: “Над округой деревенской ни созвездий, ни планет, // и не видно, Достоевской то ли рантный, то ли нет!” Я точно сорвусь... и прощай моя чёрная вода и белые снежинки, и ножевое скольжение между небом и землей среди умирающих снежинок. “Среди умирающих снежинок // один, никчёмно-молодой, // скользку на смертный поединок // над замирающей водой... // И что мне лёд, кусты кривые // и чёрной ели острый, // твои ресницы ножевые // и имя льдистое твоё, // коль гаснут жизненные створы? // Прощай заветная мечта, // тайга, предзимние просторы, // и жизнь, и смысл и красота! // Прощайте...” Прощайте не потому, что я куда-нибудь уеду или не уеду, а потому, что снег и вода также станут поодаль и объявят нейтралитет. Конечно же, у меня безотказный аргумент: русская литература, где всё прописано чёрным по белому. Ох, е-е-если бы они понимали её глубину... То давно бы её прикрыли!

Я дошёл до дому. Печка загудела отчуждённо, будто не я её белил. Прозрачный пакетик из-под травяной заварки медленно пролетел по полу и, плавно, как медузка, изогнувшись, прилип к поддувалу. Мелкое это чудо ещё вчера заморозило бы, как замораживали десятки мелочей, о которых не подозреваешь, живя в городе. В первый мой здешний день в кузове машины я подъезжал с берега к своему дому, стоящему в высокой траве. В бок бил невидимый выхлоп, и напротив него трепетной ямой сминалась трава, и вмятина двигалась вместе с нами... А за сутки до этого ходил по палубе... И когда шёл против хода, берега замедляли движение, тянули назад заскоружло, а когда поворачивал обратно, подхватывало небывалой ходкостью. Она складывалась из трёх скольжений: течения огромной реки, движения судна и моего шага. И именно шаг брал на себя всю лёгкость, скорость и растягивался, летяще отхватывая целый кусок берега. Вот оторвал ногу, занёс, и тебя бросило вперёд, и новая верста волшебным образом засквозила мимо. Странное и славное чувство...

Сильные и дикие места... Мне казалось, что сила русской земли в них всемогуща, и крепкие люди, жившие десятилетиями труднейшей жизнью, вынесшие и войну, и укрупнение, выжившие в последнем развале, должны только накапливать противоядие к чуждому и дожий почвенный дух... И что меня, обессиленного войной на городских рубежах, они этим духом подпитают.

Я в сердце Родины. Течёт великая река, до Европы далеко так, что и западный ветер не донесёт её голоса. Вокруг простые вещи: дерево, береста, стайка с козами. Коровы мычат. И что, всё это не имеет никакой силы и значения? Что дерево? Что рубленый острог, храм, изба, стайка? Что кринка, берестяной туес, если пришла молодая сильная баба и вылила из них многовековое содержание. Так спокойно, походя всё отменила, почти не придавая значения, с уверенностью, что именно так и будет. И ведь добро бы нерусская, а то славянка самая... Пустые предметы слепо глядят оболочками, кажется, по самой сочной кедрине стукни — рухнет с пустым звуком и расколется на куски...

Я уже боюсь ступать по этой земле, боюсь открывать рот, потому что каждое слово вызывает спор, раскол, укор. И я иду будто с опалёнными ступнями, вздрагивая на каждом осколке слова, на каждой неровности смысла, и, требуя любви к этой земле, встречаю лишь непонимание, потому что в наш вековечный мир нагло и бесцеремонно вносят вместо смыслов их закрайки, пустыри для возвращения бессильных ценностей.

К моему птичьему списку добавилось ещё одно слово — “взгляды”. Я всё время ищу слов для удобоваримой подачи простых и дорогих понятий, чтобы доступней перевести на язык мира вещи, смертельно дорогие сердцу, а главное — самому не истаскать, не уронить их, придать им звучание, не вызывающее оскомины, потому что всё справедливое скучно, так как предполагает самоограничение, выбор трудного. Мои же собеседники даже не пытаются подстроиться, рубят, как есть. И не потому что такие прямые, а потому что в миру на первом месте — жизненная бывальщина, работа, обстоятельства, которыми люди живут, а пресловутые “взгляды” в их представлении

дело отдельное и тут стопепенное, нечто из области разговоров. И вовсе не руководство к жизни, не мировоззрение, управляющее сердцем. Отсюда и путаница. “Я люблю снег... Лёд. Лад. Лиду”... “Ну, знаете, у вас странные взгляды”... Вот и весь спор. И сказ.

Поделом мне. Нельзя переносить ответственность на погоду или местность, просить природу разделить гражданские тяготы... Не ставь её в неловкое положение, пожалей, если любишь, — она же помогала. Да и, если честно, ни при чём тут кедрины, да покосы с коровами... Сотни тысяч людей в разных концах света доят коров этих и коз, валят лес, добывают рыбу... Помню, как стало обидно, что где-то в Африке ездят на таких же длинных лодках, как у нас в Сибири.

Хотя из географических открытий меня волнует больше всего свежее, последнее, как раз связанное с местом, с новой полосой жизни: это моё раздвоение, одновременное и неожиданное сосуществование Серёжи и Сергей-Иваныча. Сосуществование довольно странное, поскольку люди они очень разные и по характеру, и по складу мысли, и даже по манере разговора. Серёжа такой задира, он всегда говорит первый, причём негромко, но уверенно, видно, что ему легче, как начинающей стороне. Он большой любитель выводить на чистую воду, причём делает это всегда в разной манере. Сегодня тон у него рассудительно-отстранённый, с распорядительским холодком, предполагающим эдакую необсуждаемую прибавку правды к его позиции.

— Сергей Иваныч, не буду делать оглядку на ваш молодой возраст, и скажу без обиняков: вы как педагог, знающий не понаслышке о тех особенностях психологии человека, которые в наше... эээ... гибкое время имеют место быть, должны понимать, что всё ваше нынешнее состояние происходит исключительно от самой что ни на есть жгучей обиды. Обида же, являясь производной от тяжчайшего из грехов, а именно гордыни, происходит от непонимания истоков и, так сказать, истории вещей и судеб, которые к ней приводят. И это как-то не стыкуется...

— С чем? — бросил Сергей Иваныч с нарочитой мрачной грубостью, с трудом преодолевая нежелание вступать в разговор, но и всем сердцем желая его.

— Ни с чем. Хе-хе.

— Серёжа, буду откровенен, мне противен твой самодовольный тон. И если я с тобой говорю, то вовсе не оттого, что нуждаюсь в подобном собеседнике и что не в состоянии поставить тебя на место. Но больно велика честь. Ведь пришлось бы выяснять, на какое именно место и что это вообще такое “твое место”, действительно ли оно твоё, и прочее, в общем, опять заниматься тобой, что мне совершенно не интересно. При этом мне досадно за правду, в которой я не сомневаюсь и которую всегда можно утопить в демагогии. В инновациях, кхе-кхе, и вызовах времени. Так вот, к твоему сведению, обида — это когда тебя уличили в слабости. И нечем ответить. И это кажется несправедливым. Обида — это переживание себя. Но я готов согласиться: пусть это обида. Обида, которая вмещает сострадание к утратам и разрушению, и своё бессилие противостоять. И гневное возмущение, когда кто-то не видит очевидного. Ты говоришь — моё состояние... Моё состояние — это переживание лжи. От лжи я болею. А как ещё объяснить? Если у меня независимо от моих мыслей и, заметь, от моего молодого возраста лезет давление, то что это такое?! Что это такое, умник, я тебя спрашиваю? Откуда этот звон в голове? Кто в моей бронзовой головушке бьёт в самые неподходящие минуты? Невзирая на время суток и погоду. Что за набат такой? В тепло и в мороз. Я бы сказал, даже в мороз! А ты знаешь, дорогой Серёжа, что в мороз все вещества, и бронза в том числе, катастрофически меняют свойства? Поэтому, чтобы в стужу не разбить колокольную броню, колокол сначала следует греть осторожными ударами, как говорили в старину звонари, раззванивать. Хотя вообще колокол раззванивается всю жизнь. И броня меняет свою жёсткую природу и становится более устойчивой к ударам.

Но вернёмся к обиде. И вопрос вот в чём. Если это личная обида колокола, то при чём тут звонарь и что велит ему взлезать на колокольню?

И следует ли тянуть колокол за язык в минуты, когда ему не до разговоров? И ещё можно долго спрашивать, но уже есть ответ: кроме календарных служб, звонарь звонит в катастрофических случаях пожара, нашествия иноплемеников и междоусобной брани. И ещё если с кем-то беда. И тогда возникает вопрос: с кем беда? И тут же не отстаёт и ответ: с красной девицей!

— Хорошо, что вы не врётё, — невозмутимо отвечал Серёжа. — И раз мы всё-таки имеем дело с обидой, то хотелось бы узнать, с какой именно её разновидностью? В данном случае мы имеем в своём распоряжении следующие виды этого постыдного недуга: обиду за Священное Писание, то есть за идею, обиду за звонкий колокол-говорун и обиду за лепообразную девицу-красавицу! Могу сказать сразу, что за идею обижаться смешно, так как от неё не убудет ни при каких обстоятельствах, обиду за вашу чугунную, простите, бронзовую головизину мы отставим, чтобы вас самих пред собой не припозорить, а за красну девицу вы обижаться не можете... И знаете почему?

Сергей Иванович сглотнул.

— Потому что вы её ненавидите. Так ведь? Только честно, Сергей Иванович. Ненавидите?

— Ненавижу... — как ребёнок повторил Сергей Иванович.

— За что?

— За то, что она... русская.

— Видимо, хотите, чтоб она нерусская была?

— Очень хочу...

— Так тогда... вы предатель...

Уйти потихоньку в осень... Надоели разговоры... Чем дальше, тем тяжелей... На дождичек бы... остудиться... Как хорошо на шею капает... И трава такая прелая, терпкая, осенняя... Репейники, мокрые, а ещё хуже цепляются... Да пусть цепляются... Одна радость, что на краю дом. И что дождик... Как горят листья на рябинке! И как вздрагивают от капель... По порядку... То один, то другой. Что они знают о порядке? И как решают, кому когда дрогнуть? Или не дрогнуть. И как *не дрогнуть*? Вот ты уже дрогнул. Нет разве? А что, коленки-то дрожат? А? Ну, вот и давай... Чтoб не дрожали... Что встал-то, как лом съел? Да не бойся — не размокнут... Да-да, прямо в траву, в сыру-землю. Что такое? А-а-а... Да это гвоздь кованый, тут много всякого... добра ржавого, старинного. Терпи. Гвоздь так не попадёт. И давай-давай, встава-а-ай на коленочки, дава-а-ай, Сергей Иванович, Серёженька, не впервой... во-от так, сразу бы... а то “преда-атели”! Ну, вот. И давай, начинай, как всегда, как у нас на Руси... Ну? “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...”, “Молитвами Святых Отец наших...”, “Царю Небесный, Утешителю...” Во-о-от... Давай “Трисвятое”, во-от, теперь “Слава...”, теперь “Господи, очисти грехи наша...”, во-от, теперь Господню... вот и славно. Вот так... Ну... А что заелозил? Гвоздь в коленку впился? Это тебе не баб уму-разуму поучать... Ну, ладно, ладно... Ветер подул и дождь, видишь, как посыпал... Лист, смотри, полетел... Славное слово “ненастье”! И как хорошо, оказывается, молиться под дождиком.

А теперь пошли домой, свечку зажжём. Вот дверку отворили... и проходим, проходим... Во-от... Спички, вот они... Та-ак... На окошечко ставь... Чиркай. Ну вот, пусть так и стоит, тем более темнеет. А за окном пусть бьётся ненастье. Да. А сейчас ты дело одно сделаешь! Какое? Читай: “Перед началом всякого дела”. Читай. Ну...

“Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благодати: помози ми, грешному сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь”.

Так. А теперь повторяй. Громко и чётко:

— Я

люблю

этот

народ,

какой он ни есть, зрячий и слепый, пьяный и трезвый, безбожный и праведный, драный и сытый, читающий и пьющий, геройский и равнодушный, молящийся и богохульствующий, стоящий насмерть под пулями и позарившийся на бrenные блага, предающий друг друга за кусок хлеба и ныряющий за брата в гущу ледяную и огневую! Дай мне сил на это, Господи Иисусе Христе, Мати Пресвятая Богородице, Ангеле Хранителе мой Святыи Преподобный Сергий! Это и есть моя честь и слава в тяжелейшее время для моего народа, обезволенного и поглупевшего, готового в тоске на любую кость кинуться! В роковое это время дана мне милость служить ему, воевать за него вместе с теми малыми силами, которые ещё способны на войну, и драться неистово и до конца дней своих и, если надо, положить жизнь! Дай мне, Господи, терпения стряхнуть с очес пелену невежества моего. Ибо я самый последний, грешный, безвольный, а главное — самолюбивый червь. Я хуже всех, ибо многое открыто взору моему, а воли и здравомыслия не более, чем у малого ребёнка. Это и есть моя молитва, Пресвятая Богородице... Это и есть мой путь и крест, и дай мне, Господи, его вынести и не краснеть за слова свои на суде Твоем...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В магазинах здесь дают продукты *под запись*. В ближнем ко мне, “Ландыше”, у продавщицы Снежаны — истрёпанная тетрадка, похожая сбоку на меха гармошки. Меха эти воздушно пухнут с угла. Снежана предложила сама: “Понимаю, что вы сейчас без денег, такие траты на переезд, на обустройство. *Снабжайтесь* “под запись”, потом с зарплаты отдадите. Да нормально. Хе-хе, в долг не давать — торговли не видать! Вот пряники хорошие есть *наразное*”. Правда, передо мной она отшила одну доставучую иссохшую тётку из местных аборигенов, Тамарку. Она требовала “под запись” водки и пыталась занять у меня триста рублей “*взаимобразно*”. Здесь очень любят это слово, причём не “заимо...”, а именно “взаимо”, что отражает некую взаимность обоюдного понимания и выручки. Передо мной *снабжался* невысокий бородатый человек, лица его я не разглядел, но мне показалось, что он не совсем местный. Глуховатым деловитым баском он спросил Снежану: “А скажи, хозяйка, в какую цену эти сапоги?”

Я попытался получше рассмотреть странного покупателя, но было неудобно заглядывать в лицо, а когда он пошёл к выходу, меня снова отвлекла Тамарка. Снежана сказала, чтоб “отстала от человека, бессовестная, он тоже “под запись” берёт”, и покачала головой: “Да вы чо такие-то?! Ей говоришь, а она ни алё”. И дала мне в пакете булку домашнего хлеба и шапошек. Взаимобразная Тамарка так и осталась докучать при магазине.

Отправляясь в эти края, я думал, что прибуду в заповедник тишины и покоя, в сонное царство, где тебя никто не трогает, и в нерабочее время ты предоставлен сам себе. Оказалось, наоборот, и я настолько всем нужен, что спасаюсь лишь этими записками, и почему-то надеюсь, что, имея ещё неведомую ценность, происходящее не просквозит мимо, а осядет на бумаге плодотворно, оправдав мои дениношные беспокойства. Хотя возможно, что это лишь жадность, страх за потерянное время. Я ведь правда не знаю, что это: трусость перед уходящим или естественная, как разговор, потребность понять себя, отразиться в русском слове, как в мере, каноне совершенства, охладить лоб о прохладный его оклад. Уравновесить душевный пыл, суетность и несдержанность. Причаститься света и крепости, которые будто возьмут на поруки с твоими несовершенствами. Нынешние молодые люди совсем на другом наречии и мыслят, и говорят, да и я, когда перечитываю, не узнаю себя, какуюсь намного взрослей и зрелей. Честно ли это?

Вчера, едва собрался почитать, прибежала соседка через дом. У неё *отлеся* кобель, сидевший на верёвке, потому что все цепочки “мужик в лес уволок”. Больше половины здешних мужиков уже в тайге на охоте, счастливы.

Графа этого Кобелянского я еле выловил — он накрепко задрался с Пиратом неподалёку от моего дома. Пират — здоровенный псина из породы здешних водовозов, очень лохматый, с медвежьей мордой и хвостом, как

пальма. Лохмат он невозможное. Шерсть у него изначально белая, но настолько грязная, что цвет её серо-бежевый, а роскошная шуба вся сплошь в репейниках, как в бубенцах. Нежную серость собакам придаёт уголь из кочегарок.

Пират очень предприимчивый и вороватый. Раз я колол дрова, как вдруг вздрогнул от далёких, как гром, матюгов. Я обернулся и увидел соседа Тёму, бегущего с лопатой. В тот же миг забор перемахнул Пират со стерлядкой в зубах и, снарядом пролетев мимо, так же перемахнул другое крыло забора и скрылся за околицей.

Замечательно полное непризнание Пиратом моей личности — я настолько не представлял для него ни опасности, ни интереса, что он меня едва не сшиб. Напряжённая морда с добычей смешно тряслась на скаку, выражение её было крайне сосредоточенное.

Я поймал Графа, которому Пират вцепился в ухо. В это время мимо проходил с канистрой и шлангом Костя Козловский, бывший горожанин и отец дотошного Лёни. У него с Пиратом особые счёты.

Костя моментально распинал сцепившихся и так вытянул Пирата куском шланга по задку, так что тот, скулував, выпустил Графа.

Заканчивая четвероногую тему и безо всяких попыток искусственно присобачить её к рассказу возвращаюсь к исходному намерению: доложить, точнее, прокричать, *что никакая размеренная жизнь здесь невозможна, так как постоянно приходят с просьбами и предложениями*. И дело даже не в осенней нехватке мужиков, почти ушедших на охоту, а в свежести меня как участника поселковой жизни, не запятнанного никакой взаимообразностью. Здесь все настолько ею оплетены, что лишний раз никто никого не попросит. За мою долговую девственность даже борьба. Снятие сливок не касается серьёзного и крепкого мужицкого большинства, которым не до меня. Так что в гонке за чистый лист участвуют либо женщины, либо непутёвый мужской контингент. Первым припёрся один молодой бичик внешности, совершенно не вяжущейся с местом действия: чёрный, по-гоголевски длинно-волосый и носатый, в очках с толстой коричневой оправой и вида какого-то совсем несибирского, ещё и ужасно картавящий и похожий на еврейчика из математической школы времён наших родителей. Сходство случайное, минутное, и пропадает, едва он открывает рот, из которого обильно рвутся матерные созвучия. Он абсолютно коренной и престолярный, а облик — причуда генетики.

Чтобы стал понятен произошедший далее разговор, сделаю небольшой отводок от повествования. Готовясь к северной эпопее, я недорого купил в городе на лодочной станции старый мотор. И гордился бы своей проворотливостью, если бы по приезде не оказалось, что здесь техника у всех новейшая — серые оковалистые и жукообразные моторы висели на каждой лодке... “Вихришка” же попытался барахлить, и я имел неосторожность обронить, что, раз такое дело, то весной, видимо, придётся технику менять, на что бодряк-сосед по лодочному стойлу сказал: “Да, конечно, тебе, Серёга, путный мотор надо. А то как-то *неудобно*. Ты же педагог, а не хрен собачий”. Прозвучало это грубовато — и само по себе, и ввиду моих последних собачьих беспокойств, — но я пустил шутку мимо ушей, настолько насобачился не подавать виду.

В деревне слово распространяется, как электричество в мокрой среде. Мой гость, которого ещё и звали Эдик, зашёл, сел на гостевую лавку у дверей и, оглядев моё жильё, задал несколько вступительных вопросов. Чем безмятежнее такие вопросы и чем отвлечённей блуждает взгляд по стенам и книжным полкам, тем я больше нервничаю, гадая, что же на меня в этот раз обрушат. А гость тянет, чтоб домучить и обессиленного сразить в свою пользу.

Картавил Эдик очень сильно и раскатисто. Представьте, что нёбный язычок моего гостя на букве “р” работает, как язык небольшого рычащего колокола. Каждый шарик, каждый зубчик его рыка звучит крайне сочно и зычно, отчетливо и жирно: “жир-р-рная обор-р-ротняя стер-р-лядка”, “р-р-работал в пор-р-рту, разгр-р-ружал вер-р-таки”, “попёр-р-рла кр-р-расная р-р-рыба”.

“нажр-р-ался бр-р-ажки и пр-р-овалился в Ер-р-ошкин п-р-р-учей”, “пр-ри-обр-рету подер-р-р-жанный мотор-р-р-русского пр-р-производства”. Далее даю речь гостя в обычном написании.

— Я, Сергей, слышал, что ты “вихря” продаёшь? — сказал Эдик с мужественным холодком, сразу обозначая, что передо мной серьёзный человек, а не какой-нибудь бичуганишко.

— Кто это тебе сказал?

— Да ла-а-а-одно... — протянул он с прищуром. — Мне-то можешь не рассказывать... Вся деревня знает.

— Какая деревня?

— Такая. Короче, я знаю, что продаёшь. И если чо — возьму.

— Да ничего я не продаю, мне ещё ездить осень. А тебе куда на зиму-то?

— Мне край двигатель нужен. Для дела одного. Но это никого не касается. И... — он поднёс указательный палец к губам, — короче, ты понял. А так — деньги сразу. Прямо в этот же день.

— Да ничего я не собираюсь продавать.

— В общем, думай, Серьга. — Он отвернулся и задумчиво постучал пальцами по лавке. — Только некрасиво выходит. Тебе помочь хотят, а ты не ценишь. — И добавил грозно: — Потом поздно будет! Здесь у тебя никто не возьмёт “дрова” эти. Все на новые пересели.

— На новые дрова в смысле? — сострил я.

— Ладно, не умничай, — Эдик и так еле сдерживал улыбку, с которой вралась наружу его простодушная сущность, и на мой выпад расплылся до ушей.

— Ладно, — сказал я, чтобы отвязаться, — если надумаю, скажу.

Он держал линию солидно и в ключе, и я всё ждал, когда, наконец, проявится его настоящее нутро. Однако после улыбки, стравившей давление его бесхитростных сил, он снова принял фасон, пожал плечами, мол, и не сомневался, да только не понимает, зачем надо было так кобениться.

— Думай. Это в твоих интересах. Да мне и не престиж тебя уговаривать. Грю, деньги в тот же день. Всё: мотор — деньги. — Он сделал пальцем распределяющий жест: одно — туда, другое — сюда.

— Добро.

Он сменил тональность:

— Я всё хотел спросить, у тя почитать чо есть? А то иногда так па-читать охота. Книгу. — И он увесисто подержал это слово в руке.

.....  
Продолжаю в воскресенье. Не перестаю удивляться: я хоть и новенький, но меня грузят нарядами безо всякой скидки на мою возможную неумелость.

В субботу четыре урока, и я пришёл пораньше. Едва пообедал и прилёг с “Чудиками” Шукшина, словно по заказу, пришел Эдик. Принёс книгу, которую, видимо, не прочитал, но брал для повода, и спросил про мотор — порбочему дежурно и даже показательно-ответственно.

Едва ушёл, позвонила Снежана: “Сергей Иванович, полдеревни отзвонила, у кого жарчка, у кого болячка... У вас лодка-то, знаю, на ходу? У меня плашкот обсох с продуктами в Налимном, двадцать километров. Его обычно Щепоткин привозит, а у него зубы прихватило, он в город к зубнику уехал... Ну что, поможете? Продукты на зиму... А то я вся на нервах извелась, Дудин звонил, орёт, как ненормальный, вода падат, он обсох, уж поди. Выручите, пожалу-ста!” — “ста” она произнесла отдельно и очень громко. Плашкот она произнесла как плашкот, и я не сразу сообразил, о чём речь. “Ну, понял, выручу, — говорю, — а как его тащить-то? Кота-то этого продуктового?” — “Ну, ха-ха, — шутка про кота насмешила — слава Богу, у меня хоть отлегло... — Смотрите, Щепоткин его как-то за серёдку берёт и ташыт. Хорошо тепло, не померзнут банки”. Едва я переварил картину, как Снежана ответственно откашлялась и сказала другим, доверительным голосом, будто я уже прошёл первое испытание и допущен до второго: “Там ещё поросята, народ извёлся, ждёт. Они в трюме с города. Вы их вытащите на солнышко... Ну, всё, поезжайте тогда сразу. Верёвку только возьмите. Я бензин компенсирую”. “Да не надо ничего. Ешь бензин”.

Сюда ходит из города коммерсант Дудин (с Дудинкой не связано), у которого по посёлкам магазины. Доходит до устья Верхней, бросает плашкоут и “пустым корпусом” идёт на сложную порожистую Верхнюю, которой все боятся. В это время Щепоткин тащит плашкоут к нам через Налимный, где вроде займки и всего трое жителей. Потом Дудин на пустом пароходе забегает за выручкой и забирает плашкоут.

Я поехал в Налимный — это вверх по течению по правой стороне. Там стоит этот самый плашкоут, баржонка с кубриком. Продукты на месте, капуста в мешках, поросята в ящиках. Ящики с щелями меж рек. В кубрике воздух тяжкий. Капусту и поросят я вытащил на палубу.

Нос у плашкоута обсох. И вот задачка: спихнуть его с галечного берега и умудриться на него вскарабкаться, потому что нос высоченный. Лодку я сразу привязал к борту, а сам корячусь с берега вагой. Не думал, что пойдёт, но вага — сила. Я видел, как старOVER спихивал вагой тридцатитонный “сандакчесский экспресс”.

Нос плашкоута подавался тяжело, с подводным шелестом, хрустом железа о гальку. Едва он освободился, как стало наваливать течением корму, и я почувствовал забирающую силу реки. Всё происходило крайне медленно, но тяжесть и медленность только подчёркивали необратимость. Мятый утюг носа отходил незаметно, но мощно. Я ухватился двумя руками за фальшборт и, извиваясь, вскарабкался на нос. Пробежав по палубе, спрыгнул в лодку, завёл мотор и, перевязавшись за нос, потащил плашкоут на буксире: “Не знаю, за какую серёдку брал Щепоткин этот, но мне хотя бы от берега оттянуть его. Там течением подхватит, а дальше только подправляй”.

Едва я так подумал, баржонка стала со всей тупой постепенностью зарезаться в береговую сторону или в *берег*, как здесь говорят. Я буровлю мотором на месте, мятый нос неумолимо тащит вбок. Да так мощно и бесцеремонно, как будто я мальчишка и меня за портки хватают и волокут на расправу. Происходит всё на мысу в повороте. Фарватер здесь у берега и очень узкий, и нас несёт на красный бакен. Он ближе и ближе, а я знаю, что по закону, который специально для этого придуман, меня на него и набросит.

Тащу я своё наказание от бакена. И дивлюсь: мог бы я подумать месяц назад, что окажусь посреди пятикилометровой реки сидящим в лодке, да ещё с каким-то неуправляемым плашкоутом, полным продуктов и поросят. Почему я всегда влезаю в передрягу! Почему, когда о чём-то просят, соглашаюсь, как завороженный? Будто неумолимая сила тянет сказать: “Да”, — хотя честнее отказаться.

Перевязался за середину — оказалось лучше, но всё равно: чуть не соразмеришь обороты — пропало: плашкоут начинает зарезаться в поворот, из которого его вывести целое дело. Вроде выровнял, а он продолжает давить. Не удержал — пошёл крутиться.

Едва приспособился, из-за мыса показалась огромная самоходка и нацелила в лоб. Я попытался изменить курс, не сорвавшись в новый оборот. Самоходка прошла рядом, раскачав нашу сцепку так, что лодку елозило и скобило о плашкоут безобразно.

Не успел перевести дух — сбоку наискосок валит *сандакчесский экспресс*. Так флотские зовут тихоходные самодельные посудины, которые варят старOVERы в Сандакчесе. Длинная плоскодонная баржонка с рубкой в носу и дизелем. Может ползти вдоль берега, может плестись наперерез пароходу — вольная флотилия.

И вот этот “экспресс” тарахтит с той стороны и держит на меня. Причём как-то зигзагами. Едва я так подумал, как вдали замаячил ещё бакен с “вехой”, а сзади стал нагонящий сидящий по борта танкер. Представьте себе текучую стихию реки, дышащий живой пласт, скользкий вдоль галечных кос и каменных мысов. А по нему ползут в разных направлениях три транспорта и ступают вокруг гружёного плашкоута, который может сойти со своей оси при первом неверном движении румпеля. И уже зарыскал, потому что начался пережат с широкими и упругими водоворотами. Каким-то чудом танкер обошёл меня, сверкнув отмашкой. Косо торчащая веха проехала мимо, с дрожью испарывая воду, словно кто-то в речном нутре держал её

напряжённой и судорожной ручицей. Даже представила эта рука и её сведённые, распухшие суставы. Такие сучки попадаются на берегу — черешок истёрт в гусиную косточку, а сустав-набалдашник необыкновенно выпуклый и глазастый.

*Сандакчесский экспресс* исчез так же таинственно, как и появился. Я было успокоился, как вдруг из-за носа плашкоута выскочила обшарпанная лодчонка и, описав круг, приблизилась. В ней сидел не кто иной, как гоголеобразный Эдуард, который меня узнал не сразу, а только когда сбавил ход. Его продолжало бессильно подносить ко мне по мере того, как в глазах догорало замешательство и запоздалое поползновение проехать мимо. Он понимал, что весёлый раскат по реке нарушает образ его безмоторности. Он храбро переборол себя, широко улыбаясь, подцепился к борту и вытащил затёртую коньячную бутылку. Я расшифровал на ней надпись: “Дон Карлос”.

— Здорррово, Серрёга! Кого-кого, а уж тебя я не ожидал тут встретить! От ты мужик — чрез реку вж-ж-жик! Ты смотри, тихой-тихой, а вон какую пароходину отхватил, ха-ха-ха! А я думал, это Щекоткин, хе-хе! — он сам, как от щекотки, хохотнул над тем, как переиначил Щепоткина: хмель высвободил в нём словесную жилку, и он то переиначивал слова, то рифмовал. Глаза были красными. Весёлый и взбудораженный, распыряемый предыдущими приключениями, он потряс бутылкой:

— Хе-хе. А я еду с рыбалки, выпить охота, сначала Мотю встретил, с ним давай сначала, ну... — он вдруг нахмурился, опустил глаза и сказал скрипуче: — Он не хоте-е-ел, правда... У него дела, на участок собирается, ещё вечером тутунить... — Эдя развёл руками: — А чо поделашь? Пришлось Мотьку затравить. Неправильно, конечно, он теперь не остановится. — Эдя стянул сожаление и добавил с вызывом: — Ну, и чо теперь? Не попадайся навстречу! Сам, когда ему надо, глыкат по тихой, чтоб баба не видела, а тут я виноват! — и решительно махнул рукой: — Короче, он уехал, а я смотрю, *сандакчесский экспресс* прёт, я к нему, а там ребята молодые, один рулит, остальные у печки сидят, мы, грят, бражничам... садись с нами... Брага такая, как яблоко... холодная, ррезкая, аж в нос шибат, — он с силой сжал кулак. — В общем, пображничал с ними с превеликим удовольствием, отцепился, смотрю, ещё какая-то трахома ташшыться сверху, подъехал — плашкоут Снежанкин. Будешь?

— Да, можно, а то баржонка эта все нервы вымотала.

— Да ладно, забудь про свою бражонку, я тебе нормальный напиток привёз. — Он повернул дело так, будто приехал мне на выручку.

— Да не бражонку, а я про калошу эту...

— Да нормальная калоша. — Он беззаботно махнул рукой. — И бражонка тоже пойдёт, если чо!

И придвинулся, подщурился на один глаз и сказал с конфиденциальной улыбочкой, негромко и доверительно:

— Давай коньячку. — И ещё так губу нижнюю подвыпятил, мол, это для тех, кто понимает, не для бичей каких-нибудь, так что цени доверие.

Я изо всех сил выправлял баржонку. Эдя налил коньяку в обрезок пластиковой бутылки и в крышку от термоса. Напиток оказался коричневатым, судя по всему, спирт на орехах.

— Это что у тебя?

— Коньяк, — невозмутимо ответил Эдик и указал рукой: — Туда подработай, не видишь, заваливает? У меня ещё была одна, но мы с Мотей выдули... Или вообще, знаешь? Заглуши. Заглуши его к хренам небесным! Давай сплавимся. Здесь нормально! У нас полтора километра безопасного сплава. — О-о-н до того бакена, а если нас вон то улова поймат, то двойной тягой оттащим. Двое — не один! — говорил он колоритно, и я с удовольствием заглушил мотор.

— Тем более, чо вот она порожняком течёт? — он указал на воду. — Пускай нас тащит. Не употеет. А мы пока коньячку. Коньяк — это такая штука... Он покоя требует. Вот слушай, тебе интересно будет, — сказал он, видимо, намекая на мои записки. — У меня, короче, дядька, дядя Юра, бортмеханик, в Туве жил, в Хандага... Хангадай... Хандагай... — не взяв

с наскоку, он выдохнул, демонстративно притих и сказал показательно спокойно: — В Хандагайтах жил. На заставе. А в Кызыле у него дочка. У ней мужик охотовед. Тувинский Зять кличка. К нему на охоту люди валом идут. И короче, с Испании приезжает один, в общем... дон. Дон... Как его? Ну... не помню...

— Дон Карлос. — предположил я. От “коньяка” у меня отлегло.

— Да. Дон Карлос, — оценив мою находчивость и радуясь, что я включился в игру, весело согласился Эдя. — И они сначала едут на Хындик... на Хиндык, едут на Хындыктык... на Хиндикдик... — он пытался в несколько попыток форсировать Хиндиктик-Холь, но ничего не получалось: — В общем, на Хындык...

— На Хындык-Тайгу.

— На Хындык-Тайгу... И там дон настроился козлов до большого плеча, нарыбачился, аж рука отваливается... и стакан еле держит, и говорит... Давай намахнём... Это в смысле я говорю уже... А не дон... Хе-хе. Давай. Букет чувствуешь? Вот то-то. Короче, дон говорит: знаешь, Тувинский Зять, я так хорошо у тебя отдохнул, что приезжай-ка теперь ты в моё испанское графство-государство. Хорошо, говорит Зять. Ну, и едет, как словом, так и делом. А дон селит его у себя в замке. Селит. От те койка, от те мойка, от те принадлежность мыльно-рыльная, в общем, всё как у людей. А под замком, — секретно прищурился Эдя, — хе-хе, подвал... А в подвале коридоры подземные, а в них погреба винные-глубинные. Хе-хе... Короче, дон оказывается коньячный барон. И каждый день дон-барон велит с подвала поднять коньяку... А коньяк, я тебе доложу, такой, что губа сначала разворачиватца, а потом заворачиватца... Короче, они три дня *кряду*, — он поднял палец, — сидят у камину, едят бычачью бочину и пробуют на губу коньячину. А надо сказать, что у Зятя губа далеко не дура. Что у Зятя губа — далеко не так слаба. Хе-хе... И вот к концу третьего дня дон Карлос или как его там... говорит: “Дорогой Дон Тувинский Зять, теперь я тебе доверяю, как самому себе, пойдём-ка пройдем по подземелью”. На что Дон Зять говорит: “Почему нет? Мы с тобой по Хиндык, по Хындык-тык-тык-тык... по Хунды...”

— По Хындык-Тайге...

— По Хындык-Тайге шарохались, а уж по какому-то подземелью всяко-разно прощкрёбёмся. Они спускаются... А там этих бутылок... — Эдя повёл рукой. — А они такие пыльные, и идут так вот... вглубь средневековых времён, иначе не скажешь... И чем дальше в подземелье — тем старее бутылка. Только не думай, что они каждую дегустируют. Они продвигаются и оттяпывают так это... лет по пять исторического перыводу. В общем, остановятся, тяпнут и дальше. Тяпнут и дальше. А чем дальше они тяпают, тем вкуснее коньячина. Обожди, давай я на плашкот слажу, пожрать чо-нибудь возьму.

— Возьми, Дон Эдуардо, там в мешках капуста. Только поросят не трогай.

Эдик принёс вилок капусты:

— Не сказать, что упитанное свинство, так... супорось доходная... Доходная... доходная... На чём? Доходная, доходная... А! Доходят они до поворотка, где коридор ломается (Эдя показал его изгиб ладоною на ребро), а там такие коньячины, что каждый можно в ломбард заложить и на всё положить, сто лет жить безбедно и припеваючи, хе-хе. А после поворота там старина аж... заваривается! Вековая! — рыкнул Эдя. — Аж в глазах от неё мутно. А барон тогда цопэ с полки пузырь, пузатый такой. Открывает... наливает... а там... ммм... А там така-ая вкуснятина, что аж плакать хочется. Такой букет, что хоть ложи его в пакет, ха-ха! Но барон его затыкат и — бац на полку! Мол, это так... ерунда. Разминка перед боем. Мол, вот там да-а-альше — да! Там действительно букет. А это так... прошлогодняя солома. Дудка с Нижней Кулижки. А наш-то Зять с удовольствием бы посидел на такой Кулижке, он бы встал на ней станом и ещё бы бычков взял на передержку, а сам бы, как конь, матадором ишачил до самых зазимков, ан нет — дудки, хе-хе! Барон тащит дальше и дальше. — Эдя окончательно нашёл

ноту, и она рвалась в бой. Он всё больше распался и рубил рукой, как лопаткой: — И они всё пробуют и пробуют. И вдруг Зять чувствует, — Эдя настороженно поднял указательный палец, — что пойло-то уже не то пошло, что пусть оно и старше, но как-то резче становится... Что горчат эти выдержанные хвалёные сортовые коньяки, как... эээ... — он уже привык, что слова сами подсказывают в нужный момент... — как... эээ... на солнце тальники, и чем дале, тем боле... А дон-гвидон волокёт его дальше, а там уже не просто горчит — там де-рёт. Да не то что дерёт, там просто задирает, не хуже, чем спирт у нашей тётки Натальи с Нижнего Взвозу. Видать, пе-ре-сто-яли они... — он поднял свой безотказный палец: — Потому что всё на белом свете... вовремя должно быть вы-пи-то! Подняли!

— Да ну, так не может быть.

— Да как не может?! — вскричал, возмущённо жуя капусту и ходя желваками, Эдя, так что несколько крошек вылетело мне в лицо. — Я тоже думал — не может. Может! И ещё как! В том-то всё и дело, что может!

— Так там же купаж!

— Купаж коней у ливеней... — подавшись ко мне, грозно продекларировал Эдя: — А там Европа! И дону охота, чтобы Зятю понравилось. А Зятю-то оно всё вот уже где! — Эдя провёл по горлу: — Оно уже вообще не по Зя-тю! И Зять, а его, я тебе скажу, на мякине не взять, видит каменный столбушок — а ну-ка, ходи сюда! — он изобразил пальцем призывание Зятем столба. — И цепляется за столбушок одной ручищей, а другой хватъ барона за шкварник: “Куда ты меня ташышь, дон ты мой дорогой, отпнать тебя ногой? Ты куда несёся, испанкий ты дон-человек? Чалдон ты испанский! Я хоть чалдон сибирский и зять тувинский, а и то понимаю, чо к чему. Ведь так же хорошо всё шло! Такой был путний коньяк, там, коло поворота в дымные эпохи. И уже не помню, сколь на нём звёзд, но все бы наши были. Самый букет! Разъедри твой этикет! И теперь ответь: куда мы с тобой ломимся, как будто за нами гонятся шатучие медведя?! А? Медведя шатучия, дикие да злючия! Мы ково потеряли? Ково мы ломились, когда надо было никуда не ломиться и спокойно сесть на тубареточку, спокойно открыть ту самую поглянувшуюся бутылочку и с нею в обнимочку просто-напросто *спокойно па-си-деть!* Вот так, как мы с тобой сейчас и делаем, досточтимый дон Сергуччио... дон Сергундо де Свиноперевозо, эээ... дон синьор Хряко де Кабано... эль Хрюкотранспортирадо! — и он поднял крышку от термоса: — Хрюко!

Заковыристый тост, видимо, традиционно прилагался к истёртой бутылочке.

— Отличная история. Я тоже считаю, что давным-давно уже пора посидеть у своротка. Это ведь прямо в точку! Прямой расклад! — Я невольно говорил ему в тон. — Вот, смотри! Вот, например, этот твой охотовед — это кто?

— Как кто? Тувинский Зять.

— Да какой Зять? Я образно. Отстранись... Это же Россия!

— Да ну! — восторженно воскликнул Эдя, не ожидавший столь образной трактовки... — Так. А барон? Ну-ка, ну-ка? А барон тогда чо за энблема?

— Да это всё энблема! Ты чо — не понял? Барон — это Запад!

— Вон ты куда. Нормально!

— Да. А этот тёмный коридор...

— Думаю, Организация Объединённых наций, — осторожно предположил Эдя.

— Это научно-технический прогресс.

— Да нно! — возразил Эдя разочарованно. — Какой эт прогресс? Эт не прогрессе, это какая-то... гонка соболя от кобеля... Прогресс — это другое... — Он задумался, подбирая слова. — Вот смотри, — он повёл рукой: — Течение... Бесплатная вещь. Дармовая сила. Видишь, столько вокруг дармовой силы?! И мы. Мы движемся! Нам скажут: вы ничего не делаете. А я скажу: хрен ты угадал, мил-человек! Хреноф как дроф! Это вы ничего не делаете! У нас-то как раз всё делается: у нас, будь добр, груз доставляется к заказчику, капуста доходит, помидоры, можно даже сказать, *томаты* краснеют,

яблоку наливаются, словно девичьи пред добрым молодцем! Стань-ка передо мной, как лис перед дрофой! Хе-хе! И это, заметьте, при полной экономии горючего! У нас белоконное, в смысле, бело-беконное животноводство: свинни! Свинни растут, набирают вес, того гляди — взломают свои... постылые клетки! Плюс ко всему мы ещё обсуждаем *проблемы*. Хотя вру! Как раз всё остальное плюс к этому! Остальное — к этому! И ты говоришь, мы ничего не делаем, да? Да хрен ты угадал! Мы делаем главное. Мы *всё* организовали. И спокойно сидим! От это и есть прогресс! Это и есть самый прогресс! Всё остальное — ногозахватывающий капкан для а... для окуневшего человечества! Верховая кулёмка с... эээ... с... эээ... насторожкой челачного типа... — выпалил Эдя и победно зыркнул мне в глаза. — А у нас прогресс. А прогресс нужен, чтобы... — жилы на худой шее Дона Эдуардо надулись, и он взревел: — Прогресс нужен, чтобы *мы-слить*! Да. А чо? Мы мыслим. Мы столько с тобой сегодня намыслили, сколько мыслей налопатили, наваляли, с корня взяли — целую деляну! Да! На связи. Пожалста, присылайте представителя... освидетельствовать лесосеку. Да. Милости просим. Вот, пожалуйста, мысля, как говорится, соковая-строёвая, шкурёная-ядрёная, аж звенит — два сучка на шесть погонных метров, хоть за море гони... Это вот вершинник, а это так — сучья-дрючья... дураков морочить. Ау, контора! Никанора, хе, — сказал Эдя развязно, приложив к уху капустную кочерыжку: — Это Верхний склад, дак чо вы там говорите, народ из села в город дерёт? Да нет, у нас как-то наоборот! Наоборот! Так что милости просим к нам на перфора... на периферию! Приезжайте. Мы вас жить научим! Эх, и работать, и кушать, и отдыхать культурно. А ты как думал? Ешь — потей, работай — мёрзни. Мыслить — самая трудная работа. А после работы и сон сладок. И-э-эх, растянуться на нарах... печуганочку подтурить добром... И снится мне со-он, — запел-затянул Эдя и, неожиданно вскочив и заходив плясовó, зачистил: — Как запыл мне в ж... сом, а за ним два налима и всякая др-р-ругая р-р-разная рыба, и сор-рога, и пескарь, и нещипаный глухарь, — Эдя сел обратно и принялся стучать себя в такт по коленям. — На болоте мошкара по четыре комара, толстомордый бурундук прёт ореховый сундук, росомахи и песцы тащут зиму за узцы, эти... как ево... олени, ёхо-ёхо-ёхорь-ё, пушнорылое зверё, кто тут едет вверх по Лене на оструганном полене, это ж Мотька, ё-моё, — Мотьке ехать в зимовьё! Й-э-эх! — Эдя махал руками, но взгляд его уже пыл, и когда он моргал, веки ходили будто в густой розовой смазке. — А лесные сенокосы попросились на полставки заготавливать покос для промхозных для стрекоз, эх, ёжкин коток, таёжные скитальцы — уходили без порток, возвращались в малице! Проросла моя нога сквозь родные берега, узнаю тебя, тайга, в каждой загогулинке! Приходи на посиделки, белки просятся в тарелки, утром бегали в мехах — превратились в куренки. Не хочу глядеть в стакан, а пойду по путику, лезет в плашку и капкан белка, дятел и ушкан. Ковролётные летяги на воздушной, эх, на тяге! Рассчитают шаг винта — остальное от винта! — последние строчки ему особенно понравились, и он повторил:

*Опа, опа, трит-татушки,  
Эдуардовы частушки!  
Эх, жизнь-красота,  
Отвалите от винта!*

Бутылёк окончательно опустел, и Эдя, блуждая взглядом, прозаично свернул концерт и унёсся в посёлок.

Небо, ветерок, разлётная даль, упругие водные силы так же стояли поодаль. И за балагурством только казалось, что они отошли и ослабили свой спрос. Едва скрылся Эдя, как навалились на меня речные воздушные пространства, чуткие и могучие токи. Ветерок насёк тёмные скобочки на гладкой водяной коже, навалился на плашкоут, и оказалось, что меня довольно сильно отбило от берега... Это было плохо: могло утащить в другой фарватер и пронести мимо дома. В этот момент раздался истошный визг, от которого кураж слетел во мгновение ока. Бросив мотор, я вскарабкался на палубу

и увидел, что ящик взломан, и один поросёнок уже выбрался и трясушей торпедкой носится по палубе, болтая ушами, и того гляди сорвётся за борт. Я еле поймал тугие бока, и, едва удерживая, понёс к ящику, из которого в это время топырился второй и готовился к десанту третий.

Представьте себе шершавого, тугого, как надутая камера, поросёныша. Плотного и тяжёлого, которого еле удерживаешь за наждачные борта — на них ни складочки! — и можно только сжимать, что на весу почти невозможно. “Орать, как резаный”, — точнейшее определение. Уровень визга совершенно не отвечает размеру опасности. Абсолютная истерия — ничего более!

Едва я...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Зазвонил телефон. Серёжа нехорошо, трудно замер, прикрыв глаза с дрожью в веках, шумно и отрывисто выдохнул и очень медленно, будто впечатывая, положил ручку всей длинной плоскостью. Худоцавый, с тёмно-русой слабой бородкой. Глаза большие, серые, из тех, что принято называть лучистыми. Они придают одухотворённый и прямой вид. И лоб тоже прямой, чёлка высокая, торчащая крепко. Выражение какой-то удивлённой готовности, будто он ещё минуту назад расслабленно дремал, и вдруг его разбудили для трудного и небывалого дела.

Он сидел за столом перед открытой тетрадкой. В пузырьке стояли фиолетовые чернила и рядом — кружка с горячим чаем. Дымок вился туманной спиралью.

— Слушаю. Да!

— Сергей Иванович! — раздался взволнованный женский голос, — это Наташа Щелканова. У вас фонарик есть? Бежите! Бежите на берег! Там Мотя Степанов... Под Тимкиной Коргой... Мой поехал на лодке... Надо встретиться... Агашка прибежала... Неладно там...

Сергей порывисто и по-ответственному быстро оделся: куртка, большие сапоги из лёгкой пористой резины. Стоявшие наготове, они даже будто потянулись к ногам, как трубы. Шапка, фонарь на лоб... По длинной крутой лестнице, потом по тропе меж камней Серёжа спустился на берег, пологим галечником сходящий к воде. Там ещё никого не было.

Чем больше возвышался, оставался дальше за спиной угол с невидным посёлком, тем сильнее Серёжа лишился тыла и принадлежал воде, чувствовал её иную плоть, иную тектонику, в которой и звуки, и запахи, и расстояния жили по своим законам огромной и дышащей плоскости. Чем ниже спускался к границе, к холодной и кромешной черте галечника, тем сильнее ощущал отрешающее действие, пронизывающее излучение этой поверхности... Несмотря на то, что вроде бы спускался вниз, едва он достиг границы, едва слился с уровнем, лежащим вокруг на десятки вёрст, как всё, что за спиной, провалилось, ушло за горизонт, и остался человек на кромке, как на вершине. И живая трепетная мгла, прошивающая до костей...

Каждый раз он вспоминал о подобных ощущениях, как об откровении, потому что не может хранить память такое смешение запахов, дуновений, плесков... Нельзя быть настолько пронизанным тишиной, в которую вслушиваешься, проваливаешься, и она расступается, расслаивается на столько звуков, звонов... Позывка-стон невидимого куличка, шелест севшего табунка утиного... Всё невидимое, всё наощупь, на доверии. На тайне.

Из-за спины, от посёлка тянул восток. Рябь будто из ничего завязывалась в отдалении от берега, но ниже, от устья Рыбной, где берег сходил на нет и не защищал от ветра, негромко, но мощно и раскатисто шелестела волна. Сергей подошёл к своей лодке, поболтал холодный бачок, который тоже был частью ночного стылого и внимательного-сырого мира. Бродя по мокрому галечнику, он старался ступать осторожно, сдерживать мерный сырой хруст. Вслушивался, меняя направления ходьбы, ловя угол простора. Казалось, особо удачно повернувшись, что-нибудь наконец уловишь. Вдали вроде бы завязался звук мотора... то пропадая, то исчезая. То вдруг усилился,

а потом снова зазвучал тише и вдруг неожиданно загудел уже рядом и ближе, чем думалось. Подлетела тёмная стрела лодки. Ткнулась в шуме догнавшей волны. В руки Серёжи из лодки выскочила Агашка под Тёмин крик:

— Сюда давай!

В лодке лежал, как труп, голый в трусах ледяной человек, которого Сергей сразу не узнал, хотя и понимал, что это Агашин отец — настолько он имел другой облик, усугубляемый мёртво-голубым светом фонарика... Мотя был напряжённый, как доска, как мокрый ледяной баланс, топляк... Чёрная щетина, волосатая грудь крылатыми завитками симметрично узорилась к середине грудины. Сергей сорвал с себя куртку. Матвей пошевелился и еле проговорил: “Я умер”. Втроем вытащили его на нос, где Матвей начинал складываться пополам от приступов крупной дрожи.

— Давай одеваем! Час бултыхался!

— Давай, Тём. Лодку сам вытащишь. Сади его мне на закорки. Я его к себе попёр.

Всё происходило одним порывом: быстрые сильные движения, слова, которые сами говорились. Сергей, не чуя дыхания, выпер Мотю, тяжёлого и клещами сжавшего его тело, к лестнице, а потом выжимал его, вытягивая, цепляя рукой за перила, как лебёдкой. Агаша побежала вперед и открыла дверь, он втащил Мотю в избу и свалил на кровать.

Мотя лежал, заволакивая на себя покрывало, руки сгребали всё, что попадалось. Он только приходил в себя. Дохнул, и от него нанесло перегарчиком. Он был, как холодный замытый топляк с песочком в трещинах, он был частью реки, гальки, тины, стыни — всего, что его тело в себя натянуло. Речная толща уже начала равнодушно его перерабатывать, перетирать, возвращать камню, песку, гальке.

Давящая ледяная стихия пропитывала тело миллиметр за миллиметром, и оно становилось спокойным и таким же равнодушным, будто чужим, с тем особым холодом, который так поразил Серёжу у лодки. Целый час со всех сторон в Матвея вдавливалась река, и он отступил в самую сердцевину-сердцевину себя, и ему всё трудней становилось говорить с миром через наросший стылый панцирь. Когда ужавшийся почти до ребёнка или старика живой ещё человек пытался докричаться до людей, голос продирался сквозь ткани судорожно и издалека. Он пролепетал медленно и откуда-то изнутри:

— Я замёрз, Серьга, чо я так замёрз?..

Зашёл Тёма с бутылкой водки:

— Держи! Я пошёл на дизельную, у меня дежурство.

— Да у меня есть. Ну, погоди... Агаша, беги домой тащи одежду батину! Только мать не пугай, — Серёжа хотел отправить её, чтоб не слушала. — Да как всё вышло-то?

— Не говори ничего, по́няла? Скажи, оборвался.

— Обожди, давай позвоним ей. — Серёжа взял трубку. — Валентина Игнатьевна, это Сергей Иванович. Тут Матвей оборвался в воду маленько, сейчас Агаша прибежит. Он у меня. Вы одежду сухую приготовьте. Да нет, нет, зачем? Не волнуйся, всё нормально, подсушите и придёт. Не за что.

Агашка убежала. Всё это время она ничего не говорила, только смотрела на отца во все глаза. Веки были красными, взгляд напряжённым, а лицо осунулось и казалось резче, суше и взрослей.

— Ну, что там было-то?

— Агашка прибегает, кричит: “Папа тонет!..”

Мотя был самый обычный деревенский мужик, трудовой, а главное — очень коренной, местный, такой же крепкий, как здешние камни, листовницы, корнями цепляющиеся за скалу, весь скроенный таким, чтобы устоять на этой ветровой, выюжной, базальтовой тверди. Мужественность, звенящая и естественная неотёсанность словно уравновешивали полную отёсанность Валентины Игнатьевны, её официальную огранку. Серёжа с добрым любопытством пытался представить, как они дома разговаривают, обсуждают хозяйство, потому что со стороны они совершенно не подходили друг другу. Валентина Игнатьевна расслабленно чувствовала себя в Мотиной защите, кроме тех случаев, довольно, впрочем, несчастных, когда он кратко загуливал.

В тайге он не пил, но дома, пока жены нет, тихонечко прикладывался, причём особо не шалил, и иногда было даже трудно определить, пьяный он или нет. Валентина Игнатьевна тренировалась в определении его по телефону, знала, когда он даже полстопки пригублял у товарища. Звонила в момент, когда он выдыхал и только собирался закусить.

Мотя тянул домашнее хозяйство с абсолютной врождённой лёгкостью, без всякого оттенка напряжения. Был он вообще какой-то... вообще *врождённый*. Коренастый, резковато-ухватистый. Плотный. Породистый сильной мужской породой... Тёмной масти чуть с отливом в прозолот, стриженный бобром, обильно-щетиный. Голос резкий, низкий. Лицо плотное, кругло-квадратное. Все части, черты крупные, напластаны густо, уверенно. Курносый нос, вздёрнутый, упрямый, ноздри продолговатые, длинные, брови, сросшиеся в прямую черту, веки толстые, ресницы выгнутые, будто чуть мокрые. Глаза чуть прикрытые, в лице есть что-то кубинское... Пока не подымет глаза, которые оказывались серыми в зелень. Когда толстые веки опущены, выражение лица немного капризное, брови, наоборот, высоко подняты, и получается большое расстояние между веками и бровями. В жизни сдержанный, немного недовольный, мрачноватый. Когда выпьет, сдержанность выходит, будто он сам устаёт от резкой своей хватки.

В тот вечер после злополучной встречи с Дон-Карлосом Матвей не сумел себя пересилить и, дома продолжив гулянку, поехал с Агашей на косу тугунить. Тугун, как и другая рыба, идёт к берегу в сумерках, поэтому на тоню встают с вечера. Они сделали несколько замётов и уже отрыбачили. Матвей отвязал верёвку от лодки, по хмельной беспшабашности легонько подтянул лодку и, повернувшись спиной к реке, возился с лежащим вдоль берега неводом. С фонариком они выпутывали из невода ершей, шершаво-топырливых, с лилово сияющими глазами. Если оставить — собаки выгрызут вместе с неводом.

Река Рыбная впадала в Енисей под острым углом, и через косу тянул с неё крепкий восток, оказываясь на Енисее отбойным. Если стоять спиной к косе и лицом к Енисею, ветер душил в спину через косу с простора Рыбной. Рябь на Енисее начиналась прямо от галечника. Вдруг Агашка закричала:

— Папа, лодка!

Лодку отбило ветром от галечника и тащило в реку. В темноте она еле виднелась. Пока Мотя снимал сапоги, штаны с широким офицерским ремнём и ножом, её оттаскивало и в реку, и одновременно уносило течением вниз, и она моментально оказалась ниже острия косы, напротив устья Рыбной. Мотя добежал до этого острия и бросился в воду. Через какое-то время, Агашка услышала далёкие крики:

— Агаша-а-а, доча! Бежи! Бежи, доча, в деревню! Не выплыву! Бежи! Бежи, моя!

— Папа, не умирай! — истошно закричала Агаша и ринулась в посёлок, до которого был почти километр, постучалась к Серёже, потом к Тёме. Тёма оказался дома и вместе с Агашей помчался на выручку. Шансов найти в полной темноте посреди огромной реки тонущего человека почти нет. Тёма ехал, время от времени глуша мотор и слушая. Так повторялось трижды. Тёма уже решил повернуть, но встал в четвёртый раз: “Агашка, кричи!” Агашка закричала: “Па-па-а-а-а!” Раздался далёкий ответ.

Мотя еле барахтался в километре ниже устья Рыбной и примерно в полукилометре от берега. Когда подъехали, он уже “курался” — нырял и выныривал. Сначала он выставил руку, как веху, а потом, из последних сил рванувшись вверх, обнял снизу нос лодки и замер железным замком, придя в полузабытьё, как бывает, когда спасли. Тёма перелез на нос, попытался расцепить Мотины руки, но того свело мёртвой хваткой. Тёма тогда дал ему по ушам ладонями, отодрал руки и перевёл под борт, как балан. Стрижен Мотя коротко и за волосы было не ухватить. Тёма еле подхватил его за шею и за трусы и перевалил. Тот свернулся калачом. Тёма накрыл его своей спецовкой и велел Агашке ложиться рядом и греть.

Тёму распирало возмущением от того, что учудил Мотя, восхищеньем его же живучестью и тем, как умудрился найти его ночью посреди реки.

— Ладно днём, а то прикинь — ночью! Да и вода-то ни хрена не кипяток! А он, я те грю, курялся уже... Был бы трезвый, давно к налимам ушёл бы! Хе-хе... От дела! Ладно, пошёл.

Мотя, всё тянувший, по-зверинному загребавший на себя покрывало, дрожал мелкой дрожью и просил ещё укрыть его, повторяя: “Что ж мне так холодно?” У Сергея был спирт, он смочил им конский вязаный носок и долго растирал ледяное и сырое особой плотеской тяжестью тело — крепкое, щетиристое, твёрдое, как бывает твёрдым мокрый песок. Грудь с узором волос, с красно-синим кровоподтеком — следом от борта лодки, дюралевого ребровины, через который его перевалили. Потом Сергей надел на него эти самые грубые конские носки, отцовские ещё, почти музейные, привезённые из города.

Глаза у Моти были полузакрытые и будто уменьшившиеся. Серёжа никогда к нему особо не присматривался и толком его не помнил... Сейчас видел его сильное, заросшее тёмной щетиной, очень курносое скуластое лицо с припухлыми, будто всегда заспанными глазами, со сросшимися бровями, со складками по подбородку, по щекам, которые тёмная щетина повторяла, послушно складываясь, заминаясь по ложбинам.

Серёжа влил в него водки и всё растирал шерстяной рукавицей. Тот начал оживать, но был таким же ледяным и так же трясся. Видя, что водка не берёт, Серёжа заставил Мотю выпить стопку чистого спирта, которую тот принял, не заметив и не поперхнувшись: засевшая внутри стынь поглотила жгучую жидкость, не заметив. И снова тёр и тёр. На третьей стопке спирта Мотя как-то по-жизненному отозвался, потом вдруг попытался приподняться, но лёг опять. Потом всё-таки сел. Серёжа напялил на него шерстяной свитер и штаны.

Прибежала Агашка, принесла одежду. Мотины глаза чуть-заблестели, расклеились, он огляделся, приподнялся на локте:

— Я где? Я у тебя, Серёг? — скрипуче прокряхтел: — О-о-о...

— Ну как, согрелся?

— О-о-о... — он увидел Агашу, и что-то в нём стало происходить. — Доча, ты? — говорил он низко. — Ты здесь? Хорошо. А я, Серёг... Я в рубашке... В рубашке родился, Серёга... Эта она. Доча... Она спасла... Я же дурак, дурак... Я в воду за лодкой, а там ково... Не видать ниччо... Я грёбу, а она ни на грамм, потом вообще, закрутился, вообще ничего не вижу, где берег, где чо... Она как закричит: “Папа, не умирай!” О-о-о, Серёга... Доча... Если б не доча...

— Да, конечно, в такую даль бежала! — рвалось из Серёжи. Снова и снова он представлял, как она бежала, а в ушах крик отца, уносимого течением. Казалось, этого невозможно вынести, и оно чудовищно не вязалось с Агашкой, такой весёлой и всегда улыбающейся.

— Да ково бежала... Бежала... Не то... Не то! — возмущение непонятливостью пробилось сквозь дрожь. Голос тоже ещё только отходил, и его ломало, вело: — Ты понять не можешь! Я плыву, а лодку отбивает, всё, уже сил — всё. А-а, думаю, да хрен с ним... И такая как... сказать-то... апаттия напала...

Иностранное слово, ещё и произнесённое по-сибирски — “апаттия”, — будто переродилось, тоже прошло закалку стыни, подчеркнуло дикость произошедшего.

— Апат-тия такая поймала, что я как это... как сказать-то... ну... Ну?! — он затряс рукой, требуя помощи... — Ну, как это? Ну будто... — слова тоже настолько перестыли и отсырели, что еле шевелились, не подбираясь. “Апаттия” не давало ответа, раздражало чужеродностью, сердило, а он не мог подобрать замену:

— Ну! Ну, я будто... Что? — он помогал рукой.

— Сдался!

— О — “сдался”! Молодец! Серёг, молодец. “Сдался!” — обрадованно вскрикнул Мотя и ухватился за это слово, как за лодку. — Я сдался... Да пропади оно всё... Какая хрен-разница... А как вспомнил: “Папа, не умирай!” Как вспомнил! И сразу ка-ак даст! Думаю, врётся! Вр-рётся! Не на того напали! Мотью не взять! О-о-о, чо ж холодно-то так!.. Окол-лел...

А я — всё, Серёг, всё, смирился... Хрен, думаю, с ним, одним дураком меньше... А как дочу вспомнил... Её... вспомнил... ээээ... — он замотал головой. — А ты говоришь — бежала... Бежала-то понятно... Я-то не про то...

Мотя сжался, сморщился лицом... Но слёзы, видать, тоже застыли и не текли. Он сбросил покрывало. Сел, скрестив ноги, развалил колени.

— Серёг, курить есть?

— Папа, вот, в куртке. — Агаша достала и протянула пачку.

Матвей сел, закурил. Руки ещё тряслись, пальцы не слушались. Он уронил сигарету и прожёг покрывало.

— От... ёлки!..

Какая-то механическая часть Серёжи, отвечающая за матчасть, вскипела досадой за вещь, но он, прищипнув на неё, сказал спокойно:

— Да ладно.

— Серёг, я сегодня второй раз родился. — Слова эти, на бумаге такие обычные, в его устах, с его своеобразным, здешним выговором, интонациями и тоном представляли собой нечто совсем особое, такое же природное, заповедное, дикое, как и всё остальное.

— Прикинь, Серёг... Я поплыл, и догнать не могу... А как понял, что не могу... смотрю — мне уже, что до берега, что до лодки... я уже думал — всё, уже всё. А я уж на середине Рыбной... А с неё самое течение... Ещё же дожди шли... Я днём-то видел — вода аж горкой на серёдке... Всё, думаю. А и хрен с ним... В общем, уже... — он снова просил Иваныча подобрать слово:

— Сдался.

— Сдался! — А как вспомню дочу: “Папа, не умирай!”

Мотя согрелся, отвоевывал обратно своё тепло, и ледяная короста, панцирь отступали. Он уже вернулся в свою рубашку, у него ничего не болело, не болело. Он сидел с ногами, опершись на локти. Лицо ожило. Только веки были опухшими и подсохлыми одновременно. Живо поблескивая глазами, он вдруг взял пустую стопку и протянул Серёже:

— А я ведь первый раз у тебя... в гостях... Наливай! Серёг! У меня день рожденья сегодня! Серёг! Ничего, что я у тебя тут? Доча, иди ко мне... У меня день рождения сегодня! От дур-р-рак! От дур-рак же пьяный... Везёт дуракам да пьяницам... Серёг, а ты меня донёс! Донё-ё-ёс... Х-хе... Дай Бог! Дай Бог здоровья! Слушай, дай я тебя обниму... Серьга... М-м-м...

Он сгрёб Серёже голову, очень сильно, тисично, как струбциной, и поцеловал куда пришлось, куда-то в верх уха. Серёжа почувствовал, как и в нём дрогнуло что-то, и только отрывисто крикнул. Агаша не сдвинулась и так же сидела, неподвижно и сухо блестя глазами.

Чокнулись.

— Папа! — крикнула Агаша. Мотя махнул рукой.

— Ты хоть закуси!

Но тот мотал головой — закусывать было нечего: спирт-чистоган будто на молекулы растаскивался выставшим нутром ещё в пищевode. Мотя всё не мог поверить в случившееся, надивиться и всё гонял по кругу случившееся. Он ещё несколько раз полностью повторил рассказанное, каждый раз будто забывая и начиная снова, на слой приближаясь к сути события, словно просыпался, и всё предыдущее оказывалось заспанным.

— Серёг, а ведь если бы не она, — он указал на Агашку, — я бы там уже был... Уже бы у наливов... хе-хе... Ещё дон Карлос этот попался... Ведь не хотел же... Ой, дураплик ты, Мотька...

— Ты, может, чего перекусишь?

— Да нуу, ково! — Мотя всё больше оживлялся. — Доча, ты иди, иди домой... А мы с Серёгой тут... О-о-о, если б не ты, Серёг, ты меня спас, Серёг... ммм, — он схватил Сергея за руку, затряс... — Серёга!

— Да это Тёма спас. Я-то чо? Как же они нашли тебя?

— Сам не знаю... Я гребу, уже плохаюсь, и уже всё... Каюк... Сначала-то водка грела ещё, а потом выходить-то стала... Всё... И куда грести — не видать... Так барахтаюсь... Оно с воды-то по-другому, не видать добром, вода ещё... И тут слышу — как вроде мотор... Сначала еле-еле, а потом

точно. Гремит. Думаю, ищут! Если ищут — орать буду... Слышу — заглох, я как зареву. Ну, а потом... потом... уже и не помню... Наливай, Сергей!

Агаша продолжала тихо и напряжённо смотреть на отца, сидя странной образцовой посадкой — руки ладонями вниз на коленях, правая — на правом, левая — на левом.

— Агаш, наверно, надо батю... это... в расположенье части... ты давай его... — Серёжа глазами показал, что надо брать дело в свои руки.

— Папа, ты согрелся, всё. Домой пошли, ну, па-па-а... — говорила она, дёргая его за рукав. — Мама там...

— Да обожди ты... Когда мы ещё с Серёгой так посидим? А между прочим, Серёг, я же у тебя первый раз... в гостях! — и он махнул рукой от смеха и затряс головой. — В “гостях”... Чо попало... Вытащили меня, как щенчишку... Не ты бы с Тёмкой, я бы там уже был... А чо, Серёг, давай загудим! Иди оно всё в пень! А? Наливай! — он уже протянул рюмку.

— Агаш, ты это, давай сходи к дяде Косте Козловскому... У него телефон не работает. Пусть зайдёт, срочно скажи, зовёт Сергей Иванович. — Мотя, не думай, что я тебя выпроваживаю. Но это... Мне Валентина Игнатьевна башку отвернёт, давай, Матвей, давай, всё, хорошо. Агашка, одевай его.

— Вы чо?! У меня день рожденья сёдня! — грозно вскричал Мотя, вырываясь. Он спустил ноги на пол, расправился, раскраснелся, как-то расширился, утвердился ногами, руками и выдвинул вперёд пустую стопку: — Отлично! Отлично сидим, Серёжка! Когда ещё так побазарим? Друга, я не пойду никуда!

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Пришёл Костя, помог одеть Матвея и увёл его домой. Позвонила Валентина Игнатьевна:

— Ну чо, *мой-то* не сильно вас... стеснил-то? Вы уж извините... И спасибо вам. Спасибо.

На следующий день в школе Валентина Игнатьевна посмотрела на меня с теплотой и снова сказала “Спасибо”, очень твёрдо и с чувством.

— Да ладно, Валентина Игнатьевна. Всё хорошо.

— Да как ладно? А ведь вдвойне герой — ещё и плашкоут притащили!

Я немного волновался и думал, что Матвей придёт на следующий день с бутылкой и разговором. И не знал, хорошо это или нет. Конечно, и радость была в таком повороте, и неловкость: пришлось бы с Мотей по всем правилам пить, а не хотелось, да и возврат к пьянке сводил на нет всё спасение.

Через день я встретил Матвея. Он только что поднялся по нашей бесконечной лестнице и шёл по краю угора. С бачками, ружьём, весь перевьюченный — ездил на охотничий участок. Говорю об этом специально, потому что у него рядом с посёлком есть ещё озеро, где его дед охотился и где он весновал на ондатру и уток. А у меня на озеро план.

Приземистый, широкий и на редкость кряжистый, Мотя кивнул, приветливо поздоровался за руку. Я спросил про лодку:

— Да нашёл вчера, к Сурнихе прибило. Под ту сторону.

— Это сколько километров? — зачем-то ударил я на “о”.

— Пятнадцать километров, — сказал он буднично, и мне стало неловко.

— Н-да... — я покачал головой.

— Давай, Серёг. Заходи, если чо надо будет.

Интересно наблюдать за собой. Вроде сознательный человек, а внутри будто сидит кто-то серый. Практичный, животный, который, чуть что, как пролитая вода, стремится занять место на плоскости, где попокатей. И если его не осаживать, опозорит так, что не отмоешься, как с этим окурком на покрывале, к которому моё нутро дёрнулось, подалось судорожно, испугавшись за материальное. Меня и раньше расстраивали эти тельные, подобные мышечному электричеству, судороги — казалось, у меня не может быть черт, которые презираю в других. Гордыня крайнейшая! Потому что главное не то, какие качества тебе дадены, а как ты Божьему в себе помогаешь. Хотя всё от обстоятельств зависит: бывает, пока один, ещё справляешься, а как

с людьми захлестнёшься, так всё Божье куда-то делось, а одна гордыня и вылезла. Видно, я чего-то главного не понимаю, не знаю, например, где настоять, где уступить и от этого мучаюсь.

Конечно, я могу быть и твёрдым, и чувствовать границу, дальше которой не двинусь, но от стыда не могу избавиться ни при каких обстоятельствах: едва отобью край кольшиками, стану рядом, как дурак, и чувствую себя так же фальшиво, как когда и прослабляюсь. Хотя точно знаю, что и в силе слабость бывает, и в слабине — сила. А сам иногда уступаю вроде, а от уступки мне подпитка: раз другому прибавка, и я как бы при ней.

По крайней мере, так казалось, когда Эдик стал подавлять с мотором. Он просит, значит, ему нужно. А мне почти всё равно. Ему край, а мне середка. Сижку проверяю тетради. Приходит Эдик.

— Серёг, здорово! Разрешите ввалиться! — крикнул он, сияя счастьем до ушей и будто неся счастье другим.

— Заходи, — я оторвался от таблицы.

— На-ка, — протягивает свёрток с рыбиной и бутылку.

— Я пить не буду. — твёрдо сказал я.

— Чо за люди стали? Не зайди ни к кому. Да что с вами сегодня такое-то? Да ково сегодня... это па-ста-янно так! Я уже заметил! Главню, когда ва-а-м надо, придёте, дохлого разбудите, давай то, давай это! Электроды давай! Намордник! Спасжилет! Выручай! Давай спасай меня! Тону... — он сделал паузу, переводя разговор в другую протоку, покачал головой и прозорливо прищурился, подняв верный палец: — Подожди-и-и. Теперь с этим Мотькой на меня ещё собак повешают. А я, может, спас его! От гибели. Ка-ак? А так! Не попался бы я навстречу, он трезвый хрен выплыл бы, вы об этом подумали? А то: “Развяза-ал!”, “Напои-ил!” — передразнил он. — Я не напоил, а *подготовил к аварийной ситуации!* — отчётливо произнёс Эдя. — Валентина тут Игнатьевна на меня поволокла... Я ей говорю: ты сама виновата. Довела мужика. А как? Иду весной, смотрю, стоят у ограды, думаю, хе-хе, целуются. Голубки... Ага, хрен те в норки! Техосмотр... Нюхает его. Да. Натурально обнюхивает стоит! Главное не то, что “пил — не пил”. Нет! А когда пил, с кем, что, чем зажирал и о каких бабах говорил. А тот боров стоит, как на допросе. Ещё и шею тянет. Дал бы в норки! Тоже парфюм нашла! Как не запить после этого? Или в реку не кинуться.

Эдю я выставил, несмотря на все его уловки. Он попытался пойти на крайнюю меру: снова сделать вид, что его интересуют книги и он хочет совета, что “па-чи-тать”, что любит “пачитать” и что в избушку “набирает полные нары литературы” и пока не “пра-чи-тает, из зимовья ни ногой”, а “баба” его за это “докоряет”. А потом вдруг взгордился-набычился и спросил, “где хронометр”, произнеся “хрономет”. И заявил, что он пришёл “не языком мести чо попалю”, а навести ясность с мотором, а я его путаю и сбиваю на ерунду.

Не устаю наблюдать за собой. Иногда придёт кто-нибудь такой вот нудный и просидит от силы час, а я изведусь и мечтаю, чтоб он ушёл, будто отнимают неделю. А кажется: ну, что трудного — уделить час времени, раз человеку нужно? Нет — заедает: как же так? Какое он имеет право тратит моё время? Которое я мог спокойно протереть, валяясь на койке или слоняясь. Гордыня чистая. Она у всех книжных людей. Своё время оцениваешь дороже чужого.

Дочитал “Чудиков” и пришёл к выводу, что читать про них намного интересней, чем с ними жить. По дороге с работы удачно встретил Матвея.

— Здоровеньки! Как дела?

— Да нормально. Моть. — Я помялся. — Это... Ты, помнишь, говорил, если чо — обращаться.

— Конечно, помню. Помощь нужна?

— Да. Ты машину будешь заводить?

— Буду, а чо?

— Лодку мне сможешь вывезти?

— Да без проблем, я как раз сегодня в-под угор собирался.

Я страшно не люблю угружать людей несколькими просьбами подряд, но выхода не было:

— Матвей, а у тебя там на озере... никто же не охотится?

Мотя собрал кожу вокруг глаз в настороженный прищур, видимо, решив, что я прошусь туда на осень на охоту. Я объяснил:

— Да я давно хотел спросить: можно ближе к зиме я на выходные схожу туда, ну, для души... просто? Там же ветка есть у тебя? Я хотел просто проехать... Ничо там не нарушу... Утку разве, может, убью...

— Т-т-е... — облегчённо выдохнул Мотя. — Да иди, конечно. Там только, Серёжа, ведро дырчатое, и медведь нары разворотил скорее всего, бурундука рыл, но разберёшься... А так — печка, дрова, всё на мази... Живи... Я там только весной бываю... Там и ветка, и лодка, диоральга есть... Без мотора, правда. Ночуй, конечно, сетушку воткни... Сети висят сзади на стенке, увидишь там. Сразу бы сказал... Заодно посмотришь, чтоб не шарилась там пацаны... А то они любители. Да, ну и договор, — сказал он строго, — на соболя не охотиться... Остальное — птица там... — бей.

— Да понятно, не волнуйся, мне не надо соболя, мне вот на озере... побывать.

Мотя внимательно на меня посмотрел и сказал:

— А ты на ветке-то хоть плавал?

Я сказал, что “приходилось” на практике в Лесосибирске, что было чистой правдой.

— Ну, ездил, дак... А то эта такая штука, чуть зевнул и... — Матвей помолчал многозначительно и добавил с усмешкой:

— Ну чо, этот чудотворец берёт у тебя мотор-то?

— Да я не собирался его продавать.

— Да продай ты эту чахотку. Весной возьмёшь нормальную технику, небольшецкий движунок какой-нибудь. Тебе куда сильно ездить? Давай, короче. Я за тобой заеду.

И пошёл дальше в своих заботах. Хороший мужик. Да они здесь в большинстве такие. Ничего не могу поделывать, под них подстраиваюсь, начинаю, несмотря всё учительство, говорить “километры” и “полóжил”, и тут же становится стыдно, потому что говорю это неумело и будто заискиваю. А они будто чувствуют и ещё меньше уважают меня. Лучше б я казённо рубил “километры”. Тем более ценят здесь не за то, как ты их произносишь, а как обживаешь и одолеваешь. А я всегда подстраиваюсь и за это подстраивание себя презираю, потому что корень — в гордыне проклятой; мне кажется, что в моей правильной речи — укор. А значит, действительно считаю, что я грамотней.

Нутром-то я чувю, что мужики ближе к какому-то естеству, которое я потерял взамен на некую благоприятную городскую запитку, книжную, образовательную, “современную” (не могу произносить это слово без кавычек), которой дорожу, в которой себя чувствую чистенько, ладно, вроде как еду в мягком автобусе с большими, в кофейную дымку, стёклами, в то время как мужики шагают по обочине в пыли и солярном выхлопе, но при этом знаю, что земля-то через них говорит, а не через меня, и что на истинной обочине как раз я. И будто кричу сквозь гладкие затемнённые стёкла: я тоже ваш, не отгоняйте меня, я даже вылезу из автобуса со своими хахаряшками, пойду с вами, буду делать что-нибудь скучное, трудное, буду слушаться, буду думать и говорить вашими словами, лишь бы вы меня взяли в дорогу. Во-о-он за те сопки...

А может, я просто хочу сбросить это выправленное литературное наречие? Потому что язык, на котором говорит русская деревня, прав вовеки, и хоть ничего уже не решает, но стоит, как отвес, как вертикаль... за которую ещё можно держаться.

Когда я пытаюсь говорить их языком, они воспринимают это, как должное, — для них оно неважно. А для меня важно: я костями его чувствую — корни-то у нас у всех крестьянские... Так... Заканчиваю. Что-то тарыхтит, похоже за мной. Слава Те, Господи! Не забыть вернуться к этим мыслям.

.....  
Продолжаю вечером.

После встречи с Мотей, когда решилось про озеро, пришёл домой воодушевлённый и намечтал кучу записок и чтения. Читается, кстати, здесь отлично. Глотаешь, как рыба в жор. Вот и я такой *хайрюз*. Писать тоже могу захлёб, когда есть мысли, а просто так “пришёл, икнул, затопил печку, закрыл печку, лёг спать” — не умею. Сейчас как раз самый захлёб, но я так устроен, что если посреди дела ожидается какое-то прерывающее обстоятельство, уже не могу собраться и жду, когда оно поскорей настанет. Так и ждал лодку — побыстрей вывезти и освободиться.

Едва затопил печку, потарахтела квадратная дизельная “дэлика”. Я было выскочил радостно, но меня насторожило, что она без прицепа. “Садись! — сказал своим сдержанно-сочным баском Мотя. — Сейчас за телегой только заедем”. Сказал так веско, что я не стал спрашивать лишнего, где телега, и почему он едет из дому, её не подцепив. Был он абсолютно трезвый, тугой какой-то, говорил низко-резким голосом и изредка. С сидухи в салоне я видел его руку на руле и выпуклую, будто накачанную щеку. Матвей не имел ничего общего с тем трясущимся человеком, которого я растирал конским носком. И с каждой минутой он крепчал, а я будто уменьшался.

В машине сидело ещё трое, все приветливо поздоровались и подвинулись, будто расположение ко мне Моти — пропуск. Но главным было ощущение чего-то буйно и давно происходящего, неотвратно несущегося, к чему я подключился, как к зарядному устройству. Шла предпромысловая какая-то заваруха, какой-то предперелётный стайный манёвр — со дня на день мужики разъезжались по участкам. Двух из них я видел прежде, но они не обращали на меня внимания. А тут буквально одарили заочным расположением, от которого облегчения не случилось, потому что расположение надо было подтверждать, а я не знал, чем.

Их было трое, всем лет по сорок пять—пятьдесят. Все очень загорелые и опалённые работой на ветру и солнце. Звали их Володя, Жёня и Слава.

Володя — немного странного, разбойничьего ли, свиного ли вида. Круглое лицо, почти половину которого составляет большой лоб с залысиной в виде буквы “м” и границей загара от вязаной шапки, в которой он всегда ходит. Лоб выдаётся, нависает карнизом, глаза большие, карие. Борода тёмно-русовая, не то лосиной какой-то масти, не то медвежьей с рыжим отсветом, сам толком не знаю и боюсь ошибиться. Борода неухоженная, топырится лучами, снопами, завитками, чуть не култышками. Передняя часть торчит вперёд, а вторая так же неухоженно образует ключище на шее, кадыке. Облик создают большой лоб, круглые глаза и вольная двухрядная борода. Лицо широкое, тугое и, когда Володя смеётся, скулы поджимают глаза, они с пучками морщинок сминаются в щёлочки, и лицо совершенно прижмуривается от улыбки.

Жёня — Володина противоположность. Его профиль напоминает полумесяц из детских книжек: длинное лицо, выступающий подбородок. Кожа розовая в синеву и очень светлые, будто разбавленные глаза. Ресниц нет, почти одни розовые веки. Лицо бритое. Бородой Жёня, видимо, обрастает на промысле. Говорит медленно, твёрдо и как-то неповоротливо, будто не помещается со своими представлениями, основательными и, как балка, гудкими — пока-а-а занесёшь в разговор и пристроишь. Поэтому вставляет “не перебивай” и “я грю”. Всё здоровенное называет очень сочно и одобрительно “дуррак”. Смеётся раскатисто, дробно, смех нарубает на крупные пятаки.

Слава большой любитель тайги. Он недавно переехал из города, где долго работал на заводе. Отличается и от Володи, и от Евгения: более ухоженный, выбритый, с подстриженными в косой мысок височками и чёлкой. Крепкий, в спортивной ветровке. Синеглазый. Лицо правильное, немного стальное, чуть вытянутое и рельефное. Говорит сдержанно, к мужикам иногда обращается по имени-отчеству. Ощущение, что он и подшитывается от них, и немного другими глазами заставляет смотреть.

— Да мохнорылые и мохнорылые. — продолжал Жёня то, на чём прервала его моя посадка: — Нормальное слово.

— Да ничо не нормальное! Перестань ты, — громко говорил Володя, раздражённо морща лицо и озирая других, убеждаясь, что все согласны.

С Женей он говорил так, будто наперёд знал всё, что тот скажет, и это и раздражало, и забавило: — Ничо не нормальное. Людей уважать надо. Я так не говорю. И он не скажет, — Володя тыкнул на Славу. — Сергей, будешь? За знакомство.

Он достал из кармана в спинке сиденья початую бутылку, забытую в пылу спора. Сделано это было ради меня, и никто особо не отозвался. Женя снова сказал, словно вложил двуглавую балку:

— А за что я их уважать должен? Я грю, мой дед всю войну прошёл, а эти... сычи в лесах отсиживались.

— “Сычи”, — засмеялся Слава, его несколько раз прямо сотрясло, и он покачал головой. Слово “сычи” Женя произнёс очень смешно, выпятив губы, отчётливо выделив “ч” и округлив глаза.

— Да тебе всё не так... — сказал Володя, сморщившись и обращаясь больше ко мне. — Ну, вы чо? Давайте, вас не переслушаешь, вон человек... — Движения у него были быстрые, как у хищной птицы.

Слава, доставая железные рюмки из кожаного бочоночка, добавил:

— Конечно, неуважение.

Женя не торопясь достал большой пакет с салом и с пластмассовыми ванночками, в одной из которых лежали пельмени, а в другой — золотистые копчёные тугуны.

— Нож где, Володя?

— Да ищю, здесь лежал. Обожди... — Володя зашарил в багажнике, где подпрыгивали на кочках и гремели канистры.

— Маленького дурака потерял! — подмигнул мне Женя и засмеялся негромко, но очень основательно, неторопливо, дробно, так что промежутки между кусочками смеха были очень большими. Улыбка широкая, зубы крупные, ровные и белые. И Володя, и Женя, знавшие друг друга наизусть, больше ко мне зывали, как к свежему слушателю, и сами себе казались новее, препираясь через меня.

Нашедшийся нож был действительно огромным. Женя на крышке от ванночки некоторое время очень основательно резал сало и луковицу. Матвей остановился у обочины и сидел в полной неподвижности, учитывая медленность Жени и словно добавляя ещё слой капитальности.

— Давай, Сергей, за знакомство. — Женя не спеша закусил. — Бери помидоры, Полина солила. А я рóстил, хе-хе... Вот погоди, — завёл он без перехода, словно не отпуская мысль сидела в нём полубрусинной, и он не мог её бросить, цена, как нечто большое, габаритное, требующее определения по месту, не зря ж тащили. — Ты первый завоеешь, пройдёт лет десять — в тайге одни староверы будут.

— Ну, значит, им нужней тайга! — сказал Слава.

— Да ладно, Вячеслав, — так же железно, угловато продолжал Женя, будто рельсину укладывал, — у тебя сколь детворы?

— Двое.

— Во. Двое. А у них по пять, а то и по десять. И каждому ись наа. Я грю, через десять лет вся тайга под ними будет. Хрен чо живое пробежит.

— Женя, послушай... — увещевал Слава.

— Не пе-ре-бивай... — невозмутимо отвечал Женя. — Я жил с ними. Всё гребут. С корнем. Я как-то на пароходе ехал в Каргино, там подъезжает один, бородача, сам в чём душа держится, а на лодке от такой дурак стоит! — он показал руками огромный мотор. — Откуда? Да рыбу чёрпает, ясен хрен!

— “Дурак”... — опять засмеялся Слава, и дело было даже не в “дураке”, а в том, что Женя очень смешно и сочно произносил направляющиеся ему слова.

— Евгений Степанович, — говорил Слава, немножко в себя улыбаясь, с уважением и с терпеливой интонацией, — ну, что староверы? У них же уклад главное сохранить. А остальное, как скть... прилагается... — Слава говорил быстро, чуть заикаясь, словно слова то копились запрудкой, то прорывались. Видно было, что он очень уважает этих мужиков.

Из разговора я понял, что мы едем к некоему Нефёду за Мотиной телегой. В багажнике погромыхивали железяки. Машина ехала, трясясь на ухабах и все то хватались за ручки, то отпускались и колыхались во все стороны, как ботва. Наконец, подъехали, вышли. Володя оказался самым рослым, широкоплечим и зобатым, как голубь: выгнутые длинные ноги, широкие плечи, и к ним подтянуты и выпуклая грудь, и даже небольшой живот.

На меня как бетонная плита навалилась: на телеге удручающим монолитом, каменным пластом лежал штабель бруса. На двери висел здоровенный замок.

— Ць, вот тебе и Нефёд, — пожал плечами Слава. — Чо ж он не разгрузил-то?

Все остальные молчали. Казалось, чем сильнее, крепче и старательней молчал каждый, тем неумолимей приближался выход. У соседнего дома стояла телега. Подошли, постучали, вышел мужик — очень белёсый, с копной светлых волос. Брови, выжженные солнцем, выцветшим белёсым домиком, глаза в рыжих веснушках, узко сидящие:

— Здорово, мужики. За телегой?

— Здорово, Рыжий! Где *tot*?

— Ххе, уехал. Услыхал, что в островах нельма прёт, и уехал с Ванькой. Как ужаленный. Завтра только будет. А Лида в городе. Вон, если чо, мою телегу возьмите. Вам ненадолго?

Пошли смотреть *его* телегу, оказалось, что серьга намного больше и не налезет на фаркоп.

— Может, веревкой подвяжем? — промямлил я, не ожидая, что будет так тошно от собственного голоса.

На мои слова никто даже не обратил внимания. Только Слава сделал скидку:

— Да ну, несерьёзно.

“Ну, раз так — фиг с ней, с этой лодкой, завтра вывезем”. Едва я так подумал, как Володя резанул:

— Чо, парни, чухаться? Пошли скидаем этот брус по-быстрому. Пошёл он в пень...

— Ды-кэшно, — пробросил под нос Мотя.

До чего же не хотелось впрягаться в эту разгрузку бруса! Будто что-то дорогое, с тонкой заботой настроенное могло сорваться, смяться во мне. Я понимал, что это очень плохо, но только костенел в обиде на обстояние. Ведь сидел дома, планировал столько сделать, почитать, наконец... И закипело раздражение на мужиков: что за нечёткость, стихийность, разве можно так организовывать работу? И кто-то серый внутри эту “нечёткость” стал перетаскивать уже на всю страну и занудил: “Да нет, так не пойдёт, конечно”. А бытовое паникёрство подпело: ещё и печка топится! А если уголёк вывалится?

Я пролепетал, что, может, “ладно, потом вывезем”, намекая, что, мол, из-за меня сыр-бор, из-за моей лодки, так что мне решать. Володя равнодушно ответил:

— Дак Мотьке всё равно телегу забирать.

— Держи, — сунул мне верхонки Женья.

Я боялся показаться неловким, неумелым, уронить себе на ногу брус. Но слишком рано озаботился. Оказалось, надо лёжки подложить. Ещё не легче.

— Чо он, перекидывать, что ль, будет? — и Володя быстро выворотил из какой-то кучи два сизых бревёшка. Едва я успокоился, выяснилось, что и прокладки нужны. Угнетало, что всё действительно нужно и правильно, а мне не легче. Володя отошёл в ограду к Нефёду и припёр пружинящие, прогибающиеся обрезки досок. Начали разгружать, и пришло облегчение, особенно когда разогрелся и вошёл в размах. Всё действительно выеденного яйца не стоило.

— Ещё нам должен будет, — хохотнул Володя, — сам бы хрен так слóжил, хе-хе...

Я облегчённо снял верхонки, зачем-то сказав:

— Женья, куда полóжить?

Было ясно, что коротко не управимся, тем более Верхний Взвоз на Грузовом причале, и ехать надо “в окружку”, через весь посёлок, потом обратно к моему дому по берегу, а потом так же назад. Всё это я мелочно просчитывал. Ладно, хоть разгрузили, подумал я облегчённо, и вдруг заметил, что мужики как-то странно стоят вокруг водилины, коротко обмениваясь словами, среди которых вырывалось Славино “от... конь...” и Женино “это с какой силой пятить надо!..” Мотя просто вскользь матюгнулся. Оказалось, что Нефёд этот, сдавая назад, заломил прицеп и погнул одну из трубок водилины.

— Да может, ничего? — с надеждой спросил я.

— Хрен ли “ничо” — вон трещина, — грубо ткнув пальцем, бросил Володя.

— Конечно, так не делается, — сказал Слава.

— Варить надо, хрен ли, — цеднул Мотя и хлётко сплюнул.

Опять все сгрудились в совещательном недоумении, а Володя, бросив: “Высправляйте пока!” — быстро отошёл. Через несколько минут они притащили с Рьжим сварочник, щиток, пачку электродов и бобину с проводом. Встал вопрос, куда цепляться. Пока Жёня ломиком выправлял трубу, Володя подцепился к нефёдовской бане, откуда раздался отчаянный лай:

— Кобель злючий такой у него! По зверю, наверно, идёт, — вернувшись, сказал Володя весело, и было непонятно, в шутку или нет. Делал он всё с улыбкой и будто проводя занятие, а остальные подчинялись и выполняли, но не теряя достоинства, а одобряя. Мотя присутствовал, как почва.

Оказалось, что Слава работал на алюминиевом заводе сварщиком, и Володя предложил ему:

— Ну чо, Михалыч, покажешь мастер-класс?

— Да ладно, — застеснялся Слава, — ты уж сам.

Володя было взялся за маску, но она показалась ему неудобной, и он сделал поползновение подварить наощупь, прикрыл ладошкой трещину. На что Слава настойчиво протянул маску и сказал:

— Владимир Ильич, ну, что вы, не следует пренебрегать... техникой безопасности.

Володя варил грубовато, но надёжно и не стесняясь Славы, и даже оказывалось, что спорая его хватка здесь жизненно уместней, и Слава это принимал, как большое достоинство. Мотя, отвернувшись, словно обидевшись, прижимал прут арматурины, которым усилили трубу. Потом ждали, когда остынет металл.

Держали водилину, пока Мотя пятился, подцепили телегу, и вдруг Володя со словами “Видал чо!” вытащил из крышки саморез. И в этом “видал чо” было столько очарованности жизнью, что распространялась она и на эту самую жизнь, и на собственный дар, который Володя считал лишь принадлежностью обстановки.

— Ехали и за Лесосибирском... Магазин, короче... — продолжал Слава сварочную тему. — Там сварочники, вообще все есть.

— Обожди, это где?

— Ну, где шиномонтажка... Где автовокзал, там ещё справа стройматериалы.

Я знал это место и вставил слово:

— А слева ещё “Казачья харчевня”.

— Да-да.

Жёня покачал головой и засмеялся дробно и редко:

— “Казачья харчевня”...

— А чо?

— Да чо, эти казаки... Какие казаки? Чо их сейчас так поднимают, я не понимаю. Ещё вырядятся, ордена нацепят. Они их из какого сундука взяли-то?

— Ну, они же русские люди, — не выдержал я, — вы историю казачества посмотрите... Они же границы наши охраняли.

— Да ково они охраняли!.. Пили да воровали... Да ну, я грю, — не обращая внимания продолжал Евгений, — какие они русские... — и протянул отстраненно: — Во-о-от, начинают поднимать...

— Женя, послушай, — возразил Слава, — а как же Семён Дежнёв, Ермак? Они же казаки были.

— Дежнёв... — проговорил Женя медленно, словно на перепутье.

— Дежнёв вообще в Енисейске жил. А Похабов? В Иркутске даже памятник стоит! — обрадованно подхватил я.

— Не, ну, это на-а-аши казаки, сибирские, — вдруг важно и по-хозяйски протянул Женя, — а я про тех, которые в Сече... Я читал. “Тарас Бульба”. Кино-то шас идёт.

— Вот вишь ты какой! Вывернулся! — вскрикнул Володя. — Как соболь из кулёмки!

Все засмеялись.

— Так. Ну... — всё с той же основательностью сказал Женя, — я так понимаю, мы в Сухую едем?

— Ну да, — сказал Володя, а я похолодел. Сухая Сургутиха — это речушка неподалёку, которую все называют просто Сухая, и к ней дорога по берегу совсем в другую сторону.

— Как в Сухую?

— Так. У нас кончилось.

Все засмеялись: Женя имел в виду, что едем на берег “всухую” и что надо к нему заехать за отличнейшим самогоном.

— Расслабься, дружище, — положил мне руку на колено Слава, — здесь время по-другому идёт. Это в городе — запланировал и делаешь. А здесь жизнь сама выведет. Чо у тебя там, дети малые? Собаки?

— Ни хрена се скажет, “поехал лодку вывезти”. — хохотнул Женя. Помолчав, добавил:

— Не знаю. Всё равно, зря их так подымают...

— Ну, как зря? Это же всё наше, — попытался я вступить и за староверов, и за казачество.

— Да какое наше? Наше — это вон... — он показал рукой вокруг, — за что я ответить могу... Это наше...

— Ну как? Это же части русского мира?

— Русского мира? — повторил Женя, осматривая, ощущывая слово. Решая, заносить или нет. Видно было, что на это уйдёт много времени, но если затащит, то оно там и вращёт.

— Конечно. Его собирать надо, а не расчлнять. Не рознь искать. Созидание же главное.

— Ну, “созидание”... — с обидой сказал Женя, не теряя знания дела. — Созидание... Это кто может... Вон — кто дома строит... Это созидание... А мы чо? Мы какие созидатели? Я, грю, мы охотники, мы семьи кормим.

— Да не... — я совсем смутился, — как раз вы... как раз такие, как вы, самим своим существованием... уже... уже... созидаете...

Машина остановилась, и Женя выскочил за самогоном.

Мотя вдруг сказал почти с гордостью, будто выгораживая меня:

— Вот. На озеро хочет пойти!

— Собака есть у тебя? — спросил Володя и, услышав ответ, сокрушенно покачал головой:

— Плохо. Собаку обязательно надо. Я не представляю! Как так? — и выпалил специальным голосом, видимо, свою прибаутку: — У меня осенью: собаки залаяли — и я уже тут!

Все засмеялись.

Дождавшись Женю, двинули на берег и там встретили Нефёда. Он только подъехал и возился у “уазика”, стоявшего с открытым багажником. Плотный, белёсый, лицо будто подкачали и его стянуло этой тугостью, особенно от щёк к ушам. Сын очень похожий — такое же тугое лицо, только свежее, с пушком, румянцем, с ощущением незрелости... Как заготовка. А у отца откованное, подправленное складочками и морщинками.

Нефёд вытащил мешок и вывалил нельмушку:

— Держите.

Когда подъехали к месту, уже темнело. Кто-то летел на лодке в сумерки с завёрнутой сетью на носу. Мою лодку закинули прямо с мотором одним

движением. Когда прихватывали верёвкой, Володя сказал, глядя на мой мотор, задумчиво и так... исторически:

— Да, походили мы на “вихрях”.

Потом долго ехали по берегу обратно и по посёлку к моему дому. Сгрузив лодку, мужики по очереди пожали руку, а Женя слазил в “дэлику” и отдал мне мешок, завернутый трубой вокруг прохладного плотно-пружинистого рыбьего тела. Там пластовито лежала нельма, свежайше пахнувшая огурцом. Дома я её рассмотрел подробно. Голова, узко сходящая ко рту с лепесточками. Крупная очень серебристая чешуя. Мутно-дымчатая спина. Несколько чешуинок упали и лежали рядом на полу из барочной плахи.

.....  
Продолжаю через сутки. Сегодня небольшой минус. На жёлобе повисла прозрачная морковка. А у меня в жизни серьёзное изменение: у дома образовалось некое тёплое и беспокойное поле. Но всё по порядку.

Пока я прибирал мотор, обнаружил пропажу лодочной пробки, за которой впопыхах не уследил. Спустился под угор и увидел огромную железную лодичку. Рядом с ней стоял небольшой тепло одетый человек. Серые, немного навывкате круглые глаза в розовых веках, будто надутых то ли от ветра встречного, то ли... ветра... так и хочется сказать: вечного... Круглые, густо-розовые, даже малиновые яблоки-щёки, с резкой границей между красным и остальной белой кожей. Борода неровная, какая-то... природная. Во всём облике нечто, отличающее его от любых остальных бородатых мужиков.

Стоял он... как бы сказать-то... Что-то выражало его стояние, не могу сам понять... Что-то связанное... со стыком миров. Будто его выбросило на границу, и он в невольном удивлении, в замешательстве никак не придёт в себя. Немного как пришелец. Или как заложник. Тонкое ощущение... Чувствую, как сквозит, а точности не хватает... Так стоят носители другого мира, которые в силу какой-то детской, святой особенности до конца не понимают глубины пропасти.

— Здравствуй, хозяин, — он обратился ко мне рабочим деловитым басом, — у тебя паяльной лампы, случаем, нет? А то подъёмник заколел.

Звали его Гурьян. Оказалось, лодку он сварил недавно, и что-то у него подмёрзло в самодельном подъёмнике мотора. Без груза лодка сидит высоко, и мотор хватает воздух, поэтому он придумал телескопическое приспособление для отладки высоты. В телескопы накидало брызг, и они замёрзли. Что-то в Гурьяне брезжило знакомое.

Я принёс паялку, и мы прошли на корму лодки, оказавшейся необыкновенно добротной: широкая, корытообразная, с округло и очень аккуратно сваренными бортами. Гурьян отогрел блестящие телескопы, и устройство заходило:

— Ну вот, спасибо. Это... Сергей, хотел спросить. У вас никто случаем алюминий не варит? А то лодка у меня есть, заварить всё собираюсь.

Я ответил, что не знаю, вроде бы нет. И что нужны специальные электроды.

Гурьян ответил, что про электроды в курсе, что приезжал брат с Луговатки, привозил, и что да, был урок. И у меня всё согрелось внутри от этого старинного слова... Когда шли обратно по лодке, я увидел в её носу, забранном сверху железом наподобие короба, отличную, чёрную с белым собаку.

Гурьян спросил, нельзя ли от меня позвонить в город. Поднялись на угор, зашли в избу, разговорились. Выражался он толково и грамотно. Слушая его негромкий, воркотливый говорок, я, наконец, вспомнил, где его видел — это он спрашивал у Снежаны: “Хозяйка, в какую цену сапоги?” Есть-пить Гурьян отказался, и я спросил:

— Ты ещё собираешься сюда?

— Да поди.

— Вот послушай, Гурьян, вот я знаю, если к вам придёшь, вы всегда накормите, а мне-то как быть сейчас?

— Ну, как? Я допустим, если у тебя буду останавливаться, оставлю свою посуду. И всё. — И перевёл разговор: — Ягоду-то набрали нынче?

— Ну, набрал ведёрко.

— Да ведёрко это чо есть? Мы-то *подходя* набрали. — Он часто говорил это “подходя”, видимо, в смысле “в подходящем количестве”, “на подходе” к желаемому. — А ты не охотник?

— Нет, учитель.

— А... — ответил он с лёгким разочарованием. — Учитель — это хорошо. У нас тоже целое дело было, школу пробили и построили, и единицу учительску, учительшу с Урала позвали.

— Из ваших?

— Ну.

Мне было необыкновенно интересно всё, что касается старообрядчества, но я стеснялся спрашивать. Гурьян же относился к вопросам спокойно и отвечал ёмко и с достоинством. Оказалось, что воскресные службы у них целое сельское мероприятие, на которое мужики одеваются в цветные глухие рубахи с поясками и кафтаны из черной ткани. Видя мой уважительный настрой, Гурьян разговорился, посетовал на ослабление традиции наставничества и поделился планетарными опасениями, обнаружив осведомлённость в мировых делах и тревогу за Россию.

— Ты посмотри, чо на свете творится! — говорил он с жаром. — А главное — к нам всё это валит! Это же специально делается! Посмотри, что по телевизору... У нас в семье, знаешь, это всё словом одним называлось: скверна. Скверна. Иначе не скажешь. — Он помолчал: — Ххе. Встретил тут... этих... баптистов... — и возмущённо добавил: — Вы кто такие? Нашей вере тысяча лет, она от поколения к поколению. А вы тут с брошпорами шаритесь! — и покачал головой. Потом помялся... Он часто мялся — захочет спросить, и пауза, смущение, напряжение. Гурьян помялся и спросил:

— Сергей, не знашь, собака кому не нужна, может, поспрашашь кого из охотников? Я привёз одному, а он уехал с концами. В город. А мы-то договаривались. Правда, дорого встанет. Но кобель хороший. Эвенкийский. Сильных кровей. По соболу. И по зверю пойдёт.

Я не понял, как произошло дальнейшее, и бывает ли, что слова орудут впереди хозяина, но я вдруг сказал:

— А сколько надо денег? Я... возьму.

Он сказал, сколь рублив...

— Гурьян, ты подожди, я сейчас деньги принесу.

И вкратце объяснил про Эдю и мотор.

— Добро, — обрадовался Гурьян. — Ты тогда управляйся, а у меня ещё тут дел подходя. А после я коло лодки буду.

Я пошёл к Эде, у которого не было телефона, и после некоторых ухищрений Эди по зазыванию меня на посиделки продал мотор и принёс деньги Гурьяну.

То, что у меня теперь была собака, я ещё до конца не осознал. Пока я не сколотил ему будку, он смотрел на меня с доверием и желанием ясности, прося, чтоб определили. Когда будка была готова, и я положил в неё сено, он проворно принял помещение, понимающе крутанулся, потоптался и лёг. А до этого смотрел с вопросом и надеждой, чтоб только объяснили и показали, чтоб дали возможность быть верным.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Я очень люблю снег. В средней полосе он сначала посыплет для пробы и ляжет тонкой паутинкой. Сквозь неё землю всю видать, с её усталыми жилами, веточками, венками, будто просящими: приложи... холодное что-то и светлое... И вот приляжется паутинка, потом отступит, вытопится-исчезнет, потом снова накинёт не паутинку уже, а марлю... Синеватую... Польёт-промочит не то снегом, не то дождём, то крупной побёт... И всё постепенно, чтоб горожанина не растревожить резкими сменами.

А здесь снег ложится разом и без подготовки. Одним ударом, слоем, который для юга на всю зиму рассчитан. Налётом снегом гружённых низких облаков. Таким неумолимым и решительным, будто и от тебя та же решимость и безоглядность требуется.

Поэтому появление с вечера субботы на речном горизонте огромного, в полнеба белого марева меня обрадовало несказанно. Простор такой, что снег видишь за много вёрст, хотя он может час ещё надвигаться меловой лавиной. И граница белого резкая, как по огромной прозрачной линейке: вот обычный воздух, а вот приближается млечная толща, и настолько мощно, что кажется, весь снежный год ползёт-надвигается, и настала, наконец, смена вещества, и завились снежинки осмысленно и сосредоточенно, и ползёт бескрайний рой с юго-запада, опускается ярко-белое низкое небо, и пошло косить... Легко спать под шум этого роения. А утром встал — всё в ровном снегу. И осень в далёком прошлом.

Было тихое воскресное утро, которое я встречал ещё в синей полутьме, видя, как необычно светится новым светом каждый предмет во дворе... И выйдя на двор, смотрел на белое одеяло, будто не веря... Едва рассвело, стала видна тёмная река и медленно падающие снежинки... Возвратясь домой, старался всё делать медленно, неспешно, чтобы не нарушить душевно-тихого строя... Но не тут-то было...

В девять утра приперлась баба Катя. Сушайшая старушка с огромной палкой, в огромном малиновом платке с бахромой, как толстые щупальца, и в подростковой синтетической ярко-зелёной куртке. Зашла, поставила палку, *сяла* на лавку:

— Ой, снег-то чо... Опеть огребаться... Ой-ёй-ёй... Я грю, завалит се-  
годня нас... Я чо к вам: Вы этого, Кольчу не видели?

— Кого, баб Кать? Не понял...

— Кольку, Кольку этого... как его... Ромашовского. Ученика-то вашего...

— А что такое?

— Что такое? — возмутилась баба Катя. — А я расскажу! — она по-  
немногу повышала голос, — всё расскажу. А вы ничо не слыхали? Радио  
не включали? Новостя не слушали? Ничо тамо-ка не сказывали?

С набравшего напряжённой грозности голоса она перешла на плаксивый:

— Что, свонный кббель лохматый разорил мене... Ой, ой, ой... До того  
пакостливый! Совсем совесть потерял, треттего дня залез в ограду... Я как раз  
пензию получила и с магазина ворочалась, и котомку на завалину полóжила,  
и токо за ключом отошла (он в бане на гвоздике весится), слышу — мой Пе-  
стря кыркат на привязке... Кыркат да кыркат. Ага. А Кольчин кббель через  
забор перемахнул и унёс всё... — она показала наразмах рукой, — всё унёс!  
У-у-у-у, — прогудела она носовым басом, грозя в сторону, — падина! И мас-  
ло сливочно, и конфеты ети на под-вид батончиков, как их... сикресы... ли...  
слиперсы... и колбасы полпалки... Главно — масло-то хамкнул, дак хоть  
в прок бы?! Хоть бы в прок! Так напроходную и вылетело... Сквозом... Вме-  
сте со слипсинами...

А колбасу так в морде нимо меня и проташшил. Ташшит и ишшо на ме-  
ня смотрит! Брось, грю, пакость такая! А куда там! Я за палку — он в рык!  
Я за палку — он в рык... Мне бы сподографировать его рожу бесстыжку да  
в "Северный маяк"... Да я зна-а-аю! Зна-а-а-аю! Колька его нарочй про-  
мышлять посылат! От тебе секарт, от колбаска к чаю! Поди плохо! Мо-ожно  
жить! Те на соболя гонять! Да ты посмотри на него! Посмотри, какой бух-  
ряк! Он же баллон! И куды лезет-то в него? Куды лезет? От ить полобрю-  
хий! А вчера опеть! Опеть залез ко мне в кладовку, заложку зубами отки-  
нул, сука такой. А у мене там винегрет стоял в чашке... Сестреннице день  
рожденье отводили... Она мне налóжила... Чашка-то, главное, с цветочка-  
ми... Ну, и всё, одне черепушки... Ах ты падина! Всё до капусточки под-  
мёл... До капусточки... И тефгеля, и пшучью фаршу... Хорошо ишшо то-  
рот убрала. Как чувствовала. Штоб ты сдох, бессовестна рожал! Вот мне  
Кольчу и наа. Скажу ему: "Ты, сына, собачку не корми сегодня, а то бабка  
муки кушила — шанги стряпат, рыбник-пирог и уху варит налимную,  
да ишшо оладди с вареннями. И торот вафельный. Пушшай приходит гость  
дорогой — уважит старуху-то... а то она... не знат куды пензию девать...  
о-о-о-о... Мнуки-то разъехались.

— Подождите, подождите, тётъ Кать. Успокойтесь. А Вы с Николаем-то  
говорили?

— Ково говорела?! Говорела... Да он... — она посмотрела на меня, как на ребёнка: — Он бегает от мене. Бе-гат! Я вижу — он вот токо у дровенника стоял, чурку колол, я ви-идела... Я к нему — его след простыл. Я к нему — след простыл. Мне где выгнать-то его, — она показала на палку, — со шкандыбой этой!?

— Ну, вы домой-то ходили к нему?

— Как не ходила-то? Ходила, грю. Да чёрт его дома удёржыг! Шарит-ся где-то... Шатучии, что он, что кобель, этот сука бессовестный... Никакого-го ка отступу не даёт... До того напрокучил мне... Сколь я натерпелася я с ним... Ну, а теперь всё — привадилося... Теперь его вагой из моей ограды не вывернешь. Ой-ёй-ёй... Я, главно, палкой на него, а он в рык, и глядит ишшо на меня... И главное, такой разва-а-аженный... — протянула она капризно и показала, как он, развалясь, смотрит с прищуром. — Ишшо подмаргиват... Ты ково подмаргивашь? Моргач. Я те поподмаргаваю! — она уже сидела, постукивая палкой. — Я Ларисе говорела: “Пошто не привязываете собаку?” — продекламировала она официально. — А Лариса — чо? Она сама его боится... Он такой заедливый... Он, грит, только Кольчу слушат... Так и говорит. А Колька его покрыват и меня бегат. А мать есть мать. Я те боле скажу: у йих кругова порука, мать сына покрыват, а сын — кобеля. Хотела ишшо к этой-то директорше... к весноватой-то этой... как её, Валя... Или к мужу её, Мотьке, хороший мужик, только бражка его загублят... Дак вот и думаю: пойду к учетелю... Он мужчина отдельный... Пушшай меры принимают... А еслиф нет, дак я в совет прямиком, скажу, участкового вызывайте.

Я, как мог, успокоил бабу Катю и, проводив, едва занёс перо над бумагой, чтобы записать слово “весноватая”, как раздумье моё прервал оглушительный треско-стрёкот, внезапно замерший напротив моего дома. Под нарастающий лай Храброго ко мне ввалился крайне возбуждённый Эдик и попросил воды. Я тут же протянул ему кружку, но что он рыкнул: “Да не то! Литррров пять! Ведерррко, коррроче”.

Пришлось накинуть фуфайку и идти в баню за ведром. На улице стояло странное сооружение. Железная снегоходная коробушка из развёрнутой бочки с деревянными бортиками, а на ней, на стойке из необрезной доски, — двигатель, к которому приделан деревянный винт. Сзади вертикально торчала доска с зелёным пластмассовым умывальником наверху. Он соединялся шлангами с мотором.

— Это что за... — я хотел сказать “таракат”, — агрегат?

— Аэросани, — солидно отрезал Эдуард.

Самое поразительное, что в качестве мотора на аэросанях была голова от моего “вихря”, которую я узнал по крашеному маховику. Установленная на боку, с присобаченным каким-то топорным креплением на толстую проволоку винтом. Винт был грубо вырублен из кедровой плахи. Огромный штабель винтов с занозистыми краями, с глазками сучков, как дрова, лежал в корыте и занимал его добрую половину. Лопастей было такое количество, будто они штатно отстёгивались в процессе лёта.

— Как ступеня от ракеты... Ты что... топишь ими?

— Да нет. Я шаг подбираю. Угадать не могу. — И стал, переключивая, гремя ими, показывать: — Вот этот — на двадцать шесть, вон здесь зарубка у меня — эти на двадцать восемь... У меня дома ещё... два комплекта. И в плахах три куба лежит. Всё обтесать руки не доходят.

Последовало долгое объяснение аэродинамических свойств винта, где главным было понятие “давит”, причём он с силой показывал рукой, как именно “лопасть давят”, и так сморщивался, будто тоже изо всех сил создавал тягу и давил всё, что можно.

Забыл сказать главное: ведро он вылил в умывальник “системы охлаждения”, так как винтом перерубило шланг, который он быстро заменил запасным — видимо, эта неисправность была привычной:

— Нагрелся, как утюг. Щас я запушу, а ты подтолкнёшь.

Я вообще-то совершенно не собирался участвовать в этом аэропробеге, тем более вышел полудетый. Но Эдя настоял не сомневаясь в том, что его

предприятие не может не вызывать страстного желания в нём поучаствовать, что невозмутимо достал из кармана верёвку с деревянной ручкой, намотал на маховик и начал дёргать. Мотор не заводился, да и не особо спешил проворачиваться вместе с лопастями.

— Подкачать надо, — прокомментировал он, словно это был показательно-обучающее выступление. Он подкачал грушей и ещё некоторое время маслал мотор до одышки, пока не произнёс фразу, от которой у меня открылся рот. Он вручил торжественно дёргалку и сказал:

— На ты. Задолбался.

Это, видимо, означало новый этап доверительности, возникшей по ходу нашего сближающего дела. Я не знал, смеяться или каменеть оттого, что шаг за шагом втянулся в эту свистопляску и почему-то оказался обязан дёргать Эдино изделие. Но добавлялся ещё смысл. Эдя передавал подергущку мне, как *хозяину мотора*, знающего его и будто бы несущего ответственность за его состояние, за сделку вообще, а теперь и за всё это предприятие. И даже больше того — ещё и виноватому и чуть ли не “впарившему барахляный мотор”. Мол, давай уж впрягайся, раз такой оборот.

Я, как заколдованный, несколько раз дёрнул, отметив, что дело действительно потное и одышливое. Потом дёрнул отдышавшийся Эдуард, тот завёлся, и Дон Эдуардо, сунув шморголку в карман, с криком “От винта!!!” прыгнул в корыто. Я стал толкать. Корыто не ехало. Эдя заорал: “Толка-ай!” Потом выбрался на землю, и мы вместе сдвинули аэросани. Эдя выпрыгнул и под дикий стрёкот стал очень надрывно и медленно удаляться.

А я расстался с планом “тихое утро” и пошёл к Косте Козловскому, который обещал показать берестяные поплавки.

Козловский приезжий ещё больше, чем я, но его чужеродность перевешена искренне-священным интересом ко всему плотницкому, столярному, природному, вообще ко всему ремесловому и промысловому. В работе с деревом и металлом он доходит до полного инженерного совершенства и далеко превосходит всех местных и приезжих. К тому же, ничем больше и не занимается. Ремёслам он уделяет времени, сколько хочет, и если любой здешний житель делает топорище за полчаса, то Костя уделит сутки, но изготовит абсолютно выставочный образец.

Его отличает доброта, многими воспринимаемая как наивность или чуждость. У него замечательная искренняя улыбка. Он отзывчив и выручает от души.

Козловский полный, светло-русый, с розовыми щеками. Очень курносый и какой-то ноздристый, нос крупный, и от этого имеет несколько кабаньий вид.

При этом Костя полный, но не рыхлый, а наоборот — очень плотный, такой боровок. Или боровик. И то, и другое в строку. Очень сильный, порывистый, аж вздрагивает всей массой, когда что-то хватает, поднимает. У него выпуклое выставибе пузо, он всегда в грязно-коричневом свитере, и на пузе дырка. Пузо твёрдое, судя по тому, что свитер дырявится, когда он мощно притирается к верстаку или к ящику, который Костя тащит, громко дыша.

Живёт он в неказистом двухквартирном домишке из посеревшего бруса, рядом с которым возводит домину с поморскими фронтонами и галереей. Инженерный дар у него врождённый. Любокой предмет, за который он берётся, выходит из-под его рук не только в идеальной канонической форме, но ещё и с дополнительной художественной надбавкой: “Я сразу вижу, каким он будет. Когда, например, я делаю топорище, то мне вообще не до видения. Форма сама себя обнаруживает, а я иду на поводу у неё за всеми её капризами и уродствами”.

Дом у Кости с Тоней немного походный, экспедиционный, смешанного стиля: выючные ящики и рядом — самодельное кресло, оплетённое берестой.

Тоня статная девушка, тип “шамаханская царица” из рассказа Ивана Бунина “Чистый понедельник”. Бархатно-чёрные глаза, длинные брови, чуть сросшиеся, небольшой рот с едва заметными усиками на губке, и на височке

такой же намёк на бакенбардик, который в последний момент завитком уходит за ушко, провисая. Подобранный прядка и трогательная неухоженная развилка.

Узкая длинная талия и несколько тяжеловатый таз и ноги. В ходьбе что-то русалочье, связанное с тяжестью нижней части. Никогда не красится и ходит в джинсах с штатно порванной коленкой. Очень знобко смотреть, как её смуглая коленка эту дырку ещё сильнее дорывает, когда Тоня садится поправить половик. Из-под кофты торчит рубашка навыпуск.

У Козловских двое детей, сын в седьмом классе у меня как раз, и дочка — в первом. Сын — в Костю: здоровенный и белёсый. Дочка — в маму, похожая на белочку, с такими же бархатными глазками с дымной поволокой, как на чернике.

Приехали они в Сибирь сознательно и прикипели. До этого жили в других местах, Тоня работала в заповеднике и ушла, проявив необычайную стойкость в какой-то идейной тяжбе.

С Козловскими я чувствую себя естественней, чем с другими обитателями посёлка. Мы говорим на похожем языке, и под них не надо подстраиваться. Они очень остроумно употребляют сибирские словечки, играют в них, но с симпатией, и те звучат чуть по-другому, будто из замшевого чехольчика. Тоня предложила чаю, Костя показал поплавки, а сам вышел на улицу, позудел болгаркой и принёс с улицы отшлифованный стул.

— Тонь, смотри, как получилось.

Они купили у кого-то очень красивые резные стулья. По жёлтому лаку они были грубо закрашены охрой. Костя их шлифовал болгаркой. Видно было, что тема давно обсуждается и что это часть большого разговора о местных нравах.

— Меня поражает, — говорила Тоня, накладывая варенье из дикого ревеня, — вроде местные, среди дерева живут, и сами же этого дерева боятся, как огня. Как можно было такую красоту закрасить?

Я попытался разобраться, заранее по правилу оппонента встав на местную сторону:

— Дерево сереет и теряет вид, поэтому и красят... Хотят нарядней, веселей. Олифить, чтоб жёлтенькое было, не принято, не было олифы, а краска была. Ну, и потом многим в деревне хочется, чтоб было, как в городе...

— Я согласна — на улице, наличники там, да... А внутри-то... внутри-то зачем? Вот стулья эти...

И снова пожалала плечами:

— Закрашивать такую красоту... Муж, ты собакам поставишь?

— Попозже... Ну, вы тут общайтесь, а я пока дошлифую, — сказал Костя и выбежал на улицу. Тоня подбивала тесто, ведя разговор про Лёнину учёбу. Через полчаса вернулся раскрасневшийся Костя с белыми стульями. Снял шапку, и красные уши расправились смешно, как-то постепенно. Волосы тоже были примяты к голове, голова казалась меньше, а борода торчала особенно широко:

— Сегодня попробуем на собаках проехать! — сказал он радостно. —

Я заеду.

Заехал он уже после обеда, когда я управился с делами. Вид у упряжки был несусветный. Шесть собак серого и рыжего цвета, отвыкшие от постромок, вертящиеся, кусающиеся, рычащие. Устройство цуговое, и всё это длинное лохматое сборище составляло две парные цепочки с Верным во главе. Нарта у Кости, как и всё остальное, сделана им самим, какая-то североамериканская, с поперечным набором из дощечек. И с задней двуручной стойкой, за которую Костя держится, как за рычаги, стоя на очень узких полозьях, сделанных из доски на ребро и подбитых чёрным пластиком, чтоб не подлипали.

Псарня была запряжена в порядке престижа: самый уважаемый впереди. Остальные — в порядке “убывания статуса”, как сказал Костя, морща нос: “Вид убегающего мучителя и врага веселит и заставляет преследовать”. К барану (дуге) нарты привязан “потяг” из полосы транспортёрной ленты, собаки сидят на постромках, привязанных к потягу.

Ехать собралась на аэродром, где можно разогнаться, а главное — нет других собак, потому что драка завяжется незамедлительно. Когда кавалькада несётся по улице, нечто невыносимое творится с окрестными собаками, которые на привязках изводятся до визга и хрипа, завиваясь на цепочках, а вольные просто кидаются, лезут и орут. Собаки и внутри упряжки старались подраться, без конца друг к другу приставали, заедались, лезли в морды, кто — лизаться, кто — кусаться, наступали на постромки и запутывались ногами. Костя тоже рычал угрожающе и для острастки шлепал себя по бедру специальным ремешком.

Стараясь избежать “участков с максимальной засобаченностью территории”, как выразился Костя, он выбрал самый кратчайший путь, благо мой дом на краю. Я расположился на нарте, он, вскинув руками, гикнул “айда”, и упряжка, заедаась и отвлекаясь, потрусила на выезд и стала набирать ход. Никаких органов управления, вроде поводьев или бича (учага), у каюра не было. Рулил он то окриком, то взмахом руки, и собаки его понимали. Мы проворно двигались к спуску на поляну, как вдруг... Хотелось бы задержаться на этом “как вдруг” и напомнить, что оно не простое “как вдруг”, а намеренно связанное с появлением одного важного действующего лица. Так вот, мы уже почти выруливали на поляну, как вдруг сбоку появился бело-лохматый персонаж и с возмутительно невозмутимым видом пробежал рядом, пару раз деланно гавкнув, и дунул в деревню, быстро оглянувшись, чтобы убедиться, что его манёвр достиг цели. Это был Пиратка.

Верный залился оглушительным лаем и, хрипя, рванул за врагом, развернув всю упряжку настолько резко, что Костя, матерно взревев, сорвался с задника нарты, проволочился несколько метров, паша брюхом, после чего картинно отпустился (я так думаю, по крайней мере, потому что сам не видел — мне не до этого было). Цуг понёсся за Пиратом, забыв внутренние распри. Я полулежал, как раненый в тачанке, вцепившись пальцами в нарту, а за спиной удалялся срывающийся рёв Кости. Моих команд лихая сборная не слушала. Улица неслась в коридоре звереющих собак, выпрыгивающих со всех сторон, рвущихся и дергающихся пастей. Собаки каждого участка добежали до границы, передавали нас по эстафете следующему эскорту, и лай катился по улице дальше и дальше... Иногда встречалась отжившая лопату или колун фигура, очарованно открывшая рот.

Я был уверен, что Пират добежит до дома, перемахнёт забор, и наш экипаж, смешавшись перед преградой, остановится. Но Пират на ходу фонтаном взрыл носом снег у своей калитки, косо глянул на неё, видимо, что-то мгновенно сообразив, и понёсся дальше. Упряжка летела за ним, собирая лающий шлейф. Навстречу попалась пятящаяся грузовая машина. Она резко остановилась, всколыхнувшись всем телом, и упряжка плавно обтекла её. Водитель проговорил что-то беззвучно-сочное. Встречный мужик на снегоходе метнулся и съехал на обочину, показав у виска. Но мы мчались вслед за Пиратом и свернули в узкий проулок, где едва не своротили лодку. И тут...

И тут я увидел бредущую от нас бабу Катю с палкой-шкандыбой. Умотанная в свой толстенный малиновый платок, она шкандыбала ровно по середине улицы. Тут уже я заорал, но она не слышала, и через мгновение собаки, огибая в двух сторон бабу, потягом подсекли её ноги, и она, с воплем подлетев, упала в нарту мне на колени. Едва не получив палкой в глаз, я схватил её в однурукую полуоханку, и наш караван помчался дальше под истошный бабкин мат, ставший ещё истошней и хриплей, когда она поняла, что мы гоним Пирата и что *и здесь* в нём сосредоточился весь корень зла. А дальше...

А дальше навстречу плавно двигалась Валентина Игнатьевна Степанова в сером пальто с овчинным воротничком и серой беличьей шапочке... Она невозмутимо кивнула, и мне показалось, что под глазами её наместились еле заметные складочки.

Пират целил напрямик в школьную кочегарку. Её серые от угольной пыли ворота были открыты и занавешены брезентом. Пират стремглав влетел под брезент, и через секунду туда же внеслась наша конница и замерла, образуя немую сцену со всем тем, что творилось в кочегарке, в недрах которой исчез Пират. Ярко горела открытая чутунная топка. Возле неё симмет-

ричной группой стояли два кочегара с лопатами в руках. Рты их были раскрыты. У ведра с маслом стоял Коля со светящейся раскалённой пешней, как с солнечным копьём. Пешня была секунду назад откована, и сквозь её рыже-розовое парафинное остриё прозрачно виднелись грани.

— Здравствуйте, Сергей Иванович... — удивлённое лицо Кольки представляло собой поле борьбы замешательства и дикого смеха. Он сунул пешню в ведро с маслом, и она зашипела, выпустив ленточное облако белёсого дыма. Когда рассеялся дым, ни Кольки, ни Пирата уже не было. Все грохнули со смеху.

Баба Катя с полминуты лежала недвижно в моих объятьях, словно убеждаясь, что жива, потом встала, не выпуская палку, в которую вцепилась намертво, посмотрела на всех отсутствующе невменяемым взглядом и вышла вон. С улицы я отчётливо различил слова: “Всю растряс, лешак городской”.

Собаки, ошалев, стояли, высунув языки, отряхивались, чесались, гремели постромками. Маленькая рыжая сучка из последней пары изгибалась и, нарушая субординацию, пыталась подхалимски подкусаться к Верному. Подбежал раскрасневшийся, тяжело дышавший Костя и потащил меня к себе домой, где, оползая от смеха, вывалил всё Тоне, еле умудрясь уместить меж приступами хохота:

— Жена, мы ужинать пришли. Достань нам чего-нибудь.

Мы уселись в кухоньке, где теснились обеденный и кухонный столы. Тоня готовила что-то долгосрочное в духовке, косясь на сериального “Тараса Бульбу” в небольшом телевизоре.

— Всё, садимся. Тоня, у нас капуста же есть. Давай её, — скомандовал Костя, потирая руки, и достал музейную пузатую бутылку. В ней оказался его же производства двойной выгонки самогон на сабельнике.

— У меня только вам дать нечего. Суп я детям скормила, они на площадку упёрлись... С санками. Кстати, Костя, у нас такой дубак в спальне.

Не переставая разговаривать, Тоня неторопливо и методично что-то приносила и производила какие-то действия, с виду непонятные, но потихоньку выстраивающиеся в блюда. Не поворачиваясь, обращалась к Косте, суя луковицу: “На, чисть!” — или банку с помидорами: “Открывай давай”. Шкурила варёную картошку, резала лук, щурясь и смаргивая, тыльной стороной ладони вытирая слёзы и поправляя свою прыдку-отвилок. И не переставая общаться так, что на первом месте был разговор, а на втором — приготовления. Говорила чуть замедленно, словно на два дела её не хватало, и часть внимания отбирала резка. Приготовила отличный чеснок с маслом и солью — макать картошку.

— Как вам наш Циолковский? — медленно говорила Тоня, натирая сыр. — Зачем вы ему мотор-то продали? Он спасибо-то хоть сказал?

— Да какая разница? Сказал — не сказал. Это ж не главное.

— Вот и я тоже так считаю... А вот наши... соседи... — раскатывая бутылкой тесто и сдвиг прыдку, выпавшую из-за уха, задумчиво и медленно продолжила Тоня, — хорошие вроде люди, да? Мы у них, бывает, что-нибудь просим. И она вот, Зоя, мы ещё только приехали, прибежала, что-то ей нужно было... Не помню. Мы, естественно, дали. А на следующий день приносит блинчики на тарелке. Намащенные. Мне так стало неловко... Что за расчёт-то такой? Мы же абсолютно бескорыстно.

Еда была вкуснейшая, и я не мог удержаться и с удовольствием отведал и пельменей из смеси щуки и налима, и овощного горлодёра.

— Тоня, а грузочки-то где у нас? — сказал Костя, смолотив тарелки три.

— В холодильнике снизу... А вот вы, Сергей Иванович, как учитель литературы объясните нам, может, мы чего-то не понимаем? — она говорила неторопливо и не то с иронией, не то намёком на насмешку или наоборот — серьёзно, как в школе учитель, — я понять не мог. И с интонацией человека, который уверен в своей правоте и пытается тебя проверить:

— Ведь литература учит нас? Чему она нас учит?

Я изо всех сил подумал, что русская литература, младшая сестра молитвы, учит быть сдержанным.

— Причём мы-то от всей души, — продолжала Тоня, возвращаясь к расчётлобивым соседям. — Мы на благодарность не рассчитывали...

— Да они тоже, может, от всей души! — сказал я как можно доброжелательней.

— Ну как? — раскладывала она по полочкам. — По-моему, такие блинчики означают: вот вы нам помогли, мы вас отблагодарили и всё, нас не трогайте — отвяньте, нам чужого не надо. Мы не какие-нибудь прохиндеи. — Тоня округлила глаза: — Понимам.

— А мне нравится, когда мне блинчики приносят! — сказал Костя, сморщив нос. Будучи деятельным и словоохотливым на дворе в работе, сейчас он просто одобрительно сидел, изредка вставляя что-нибудь несурзное. Выражение его лица означало довольство, что все сидят за его столом, что всё это его детище, как и нарта, и баня, и сруб, и то, что так спокойно и справедливо говорит Тоня, — тоже его хозяйство.

— Ну так что же? — сказала Тоня. — Рассудит нас великая русская литература?

— Я думаю, да. Она скажет, что вы людям помогли и что они вас отблагодарили. И что у благодарности два мотива: от чистого сердца и от желания закрыть счёт. Да? Два мотива. И что вы... напели второй. То есть попросили счёт. Мне кажется: раз помогли один раз, то помогите и следующий. В сказках так, кстати, часто: выполнил причуду чью-нибудь, а тебе — полцарства... За то, что не стал считаться... Да и почему вы отказываете им в бескорыстии? Может, это гордыня? Я дала бескорыстно, а они отдали корыстно. Согласны?

— Да, да, я слушаю, — как-то торжествуяше распахнув глаза, говорила Тоня. И было непонятно, что значит это торжество: она так и думала, что я скажу эту ересь, или, напротив, рада, что делю её точку зрения. И не спешила отвечать. Но резать она перестала и замерла с ножом.

— Тем более блинчики приносит женщина. Хранительница очага, так сказать. Благодарит, чем может. Женское стремление к порядку. Она же земными понятиями орудует. Это мужику дороже, чтоб его в жмотстве не заподозрили... Я вот взял у соседа напильник, а он рукой махнул: отдашь, когда будет. Меня это, наоборот, тяготит. Мне проще ясность. Хотя каждый помог, чем мог. Ну что, не так разве?

— Ну, пока я поняла, что бабы... существа приземлённые.

— Тоня, извините, если не то сказал. Но я-то вас понимаю. И что, когда явный расчёт, будто пропадает что-то. Не могу объяснить, но осадок есть. Хотя... Тоня, вам приходилось общаться со старообрядцами?

— Конечно... Архаичные уклады... Костя с ними вечно носится. Когда мы жили в Николаевском, они всё время у нас останавливались. Местные не очень их: "Мохнорылые..." Он даже одному за это по морде дал.

"Архаичные уклады" она произнесла так, будто термин всё объяснил.

— Я отлично дерусь, — сказал Костя. А я продолжил:

— Я вот насчёт посуды... Вы ведь останавливались у староверов?

— Конечно, — сказал Костя.

— И вас кормили на убой. А вот ваша посуда для них мирская. Вас не беспокоит, что вас они кормят, а вы-то их не можете угостить, когда придут? Другая крайность... Ведь с позиций добрых отношений-то это больше должно вас беспокоить, чем соседка с блинчиками. И вообще — выходит, вам то навязывают "спасибо", а то не дают это же "спасибо" сказать? Вас "спасибками" просто заваливают, а тратить-то не дают! От ведь как! Представляете, сколько этих... "спасиб" должно у вас накопиться в хозяйстве! — наконец-то я нашёл ногу, способную противостоять Тонину наступательному занудству. — Целый склад "спасибного материала"... Натуральное затоваривание! Так что, Тоня, — я сменил шаг винта, — может, и не стоит переживать? Вот видите, какой сложный наш русский мир! Да и главное — не кто прав, а насколько ты любишь этих людей такими, какие они есть.

Тоня улыбнулась, но я так и не понял, удалось ли мне её расшутить, свернуть с серьёзно-загадочного тона, который появлялся особо настойчиво, когда она что-то резала.

— А мы бы могли в любой стране жить, — бодро вывел Костя.

— Ну, вы знаете, про любовь здесь вообще речи не было, а шла речь о том, чтобы разумно выстраивать отношения. Разумно — это по правилам. — Тоня начала хмуриться.

— Так они-то, соседи ваши, как раз и живут по правилам, а вы приехали и обижаетесь. Я и вас понимаю, и их. И что осадок есть...

— И что же с ним делать?

— Ну, вы же хозяйка — должны знать. Выплеснуть...

— Хм-хм, — засмеялась Тоня с холодком, положила вымытую чеснокодавку на сушилку и села за стол. Окунув картофелину в чесночное макалово, попробовала и восхищённо покачала из стороны в сторону головой. Потом снова медленно сказала:

— В общем, я поняла, что литература учит нас правильным вещам, любви там... добру. А вот сейчас идёт фильм по одной известной книге... А книга предлагает нам... застрелить сына. И вот вы... Говорите такие вещи справедливые... О том же добре... О мудрости... А мы знаем, что вы не такой уж и мирный: набросились вот на английский язык. — Её длинные ресницы были опущены. Ноздри тонко вздрагивали, и она чуть улыбалась. Я снова не понимал, это шутка, укор или такое... доверие меж свободными и сильными собеседниками.

— Жена, ну что ты пристала к гостю. Ему это в школе всё надоело... Я кором пошёл мешать, — по-местному сказал Костя и ушёл мешать соба-  
*чье*, которое варилось в огромном чане на костре. Чугунный этот чан от теста Костя приволок из разогретой пекарни.

— Кором... — повторила Тоня, покачав головой, — совсем осельдочил-  
*ся*... Эти собаки такие наглые. Крупы совершенно не *выедают*.

И вернулась к английскому вопросу:

— Да... Вы боевой, — говорила она неторопливо, будто размышляя над своими словами, перебирая их, протирая и расставляя на сушилку в одном значимом для неё порядке. — Помню, в детстве у нас всегда в школе одно говорили, а дома — другое. Бабушка у меня была известным учёным, и понятно, что её много вокруг не устраивало, вся эта тупость... И я, конечно, верила *бабушке*, но разрыв был в душе... И я от этого страдала и надеялась, что у моих-то детей по-другому будет. А тут вдруг то же самое: мы дома говорим, что надо языки учить, а в школе учитель — нет, не надо.

Шла какая-то непонятная мне почти игра, было неловко перед Костей и хотелось как-то всё ошершавить, чтобы исключить и намёк на что-либо двусмысленное. Английская тема мне надоела крайне, и я топорно перевёл разговор на лобезную мне неизбежность:

— Да, выходит, вопрос остался! Но это же хорошо! Значит, действительно ничего не меняется! Именно эту неизбежность я и стараюсь донести до школьников. Например, у нас была тема подвига. Вспоминали Достоевского. Фома Данилов — 1885 год и Евгений Родионов — наши дни. И мы как раз говорили о том, что на Руси как были герои, так и будут.

— А... ну, мученики за веру, — как о чём-то понятном сказала Тоня, причём с каким-то даже облегчением, будто она готовилась к чему-то серьёзному, а тревога оказалась ложной. Будто пришилленное термином слово снимается как аргумент. — Да уж... Лёня потом спрашивал про этого солдата — почему он не боялся? И что будет, если он сам так не сможет? Очень переживал и не спал.

— И что вы сказали?

— Да я-то что? У меня муж есть... Костя объяснил, что у разных людей разный болевой порог. Что есть такое вещество, которое вырабатывает страх, и у одних его больше, а у других меньше или вообще не вырабатывается. Но он всё равно не мог заснуть долго.

Вошёл Костя и стал говорить очень вышукло, аппетитно, будто сам восторгаясь сказанным:

— Есть вообще люди, у которых руки не мёрзнут! Мы с одним мужиком, — он сочно произнёс, — со Стёпкой Щербининым сети смотрим, а у меня сосуды мелкие, руки сразу, как култышки, хе-хе, я стою, как ворона, — он растопырил руки, сияя глазами и улыбаясь, — а тому хоть бы что — ручищи красные, волоски торчат, все в куржаке, грудь распахнута. Аж пар идёт, — и добавил тихо-хозяйским голосом: — Юкона сейчас смотрел, сильно прокусили. Распухнет лапа.

Разговор затянулся, и назрел тост.

— Скажите нам что-нибудь. — сказала задумчиво Тоня.

— Вы знаете, я очень не люблю, когда мне зададут вопрос, а я не отвечаю. А вы, Тоня, задали очень важный вопрос: чему нас учит русская литература? Который я понял ещё и по-своему: чему именно я своих детей на уроках учу? И вы вспомнили одно произведение. А я почему-то вспомнил детство, и как в классе все мальчишки, и я тоже, конечно, были за Остапа, а девчонки — за Андрия. Сейчас, я уверяю вас, всё точно так же, повторю, ничего не изменилось! Но я хочу вспомнить одного человека. У нас в институте был преподаватель Евгений Николаич Лебедев, великий знаток и ревнитель русской литературы. И вот у нас Гоголь, “Тарас Бульба”. И Андрий на стороне врагов, и идёт бой... И Евгений Николаевич спрашивает нас:

“Друзья мои, идёт страшная битва. И с той стороны, и с другой падают убитые, и на нашей стороне рубятся козаки, рубится Остап, рубится обожаемый Гоголем Тарас, а со шляхетской стороны мчит с вражьем флагом не менее любимый Андрий — такое же дитя Тараса, как и Остап... Такая же кровинушка. Да... И понятно, где кто и за что кровинушку проливает... Но вот скажите вы мне, пожалуйста, а где Гоголь? Где в эти роковые минуты великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь?!”

Наши попытки жалких ответов не буду и приводить. Приведу слова нашего любимого преподавателя:

“А Гоголь, друзья мои, он, как птица, как чибис, степная чайка, с криком, со стоном мечется по-над полем битвы, меж Тарасом, Остапом и Андрием, и сердце Николая Васильевича разрывается на части, и нет и не будет этому огромному и навек подбитому сердцу ни покоя, ни пощады, ни облегчения!”

Я запомнил эти слова на всю жизнь. И на уроках задаю этот вопрос детям. И отвечаю на него. И чем дольше живу, тем больше понимаю, что если и есть что-то главное в жизни, то это состояние такого вот полёта, полного отчаяния, любви и сострадания, которое по силам только огромным людям, которые во все времена рождались и будут рождаться на нашей земле. И я сам стремлюсь к этому полёту, хотя жизнь состоит пока из карабканий и провалов, и провалов больше. Но никакие провалы не страшны, если есть над русской землёй небо, и нём этот мечущийся, навеки крылатый сидует. И поэтому я хочу выпить за великую русскую литературу, которая учит нас, конечно же, не стрелять в собственных сыновей, а совершенно другому. Она учит нас... искать Гоголя.

Тоня подняла брови, что можно было истолковать по-разному: как “Хм, смотрите-ка, нда”. Или “Ценю, но не разделяю”. Костя дослушал с широко и сочувственно открытыми глазами и разом опустошил стопку. Я тоже почувствовал, что миновала какая-то горка, после которой говорить стало легче:

— Понимаете, надо учить детей видеть автора. Сейчас идёт борьба не между книгой и всякими там... соблазнительными носителями, борьба между, скажем так, бумагой и электричеством, между... словом и цифрой, а борьба между книгой и огромным числом писанины, которая к литературе не имеет отношения. Потому что сейчас любая бывшая любодейка может написать “роман”, да ещё и объявить на весь свет, что её “книга имеет успех”, так как “хорошо продаётся”. Поэтому под угрозой сама репутация книги. А у ребёнка отношение к книге, как к некоему неоспоримому и неизбежному явлению, как деревья там или горы. Ему не приходит в голову, что за книгой стоит такой же смертный человек, как и он сам. Только ещё более сомневающийся. И старающийся помочь сквозь свои сомнения. И из ничего

великим чудом, непременным напряжением души создающий мир произведения... Ещё вчера Андрея Болконского и княжны Марьи не было, а назавтра они появились и стали частью жизни. И всё это автор, такой же живой человек. И ребёнку ближе и понятней как раз образ живого человека. Когда отец рассказал, как раненый Пушкин попросил мочёной морковки, эта картина произвела на меня в сотню раз большее впечатление, чем десяток учебных разборов пушкинского творчества. Поэтому только образ книги как предмета духовного созидания человека может помочь нам понять, заслуживает ли автор звания художника. Помочь отличить книгу от подделки. А для этого нам надо найти и увидеть этого автора. Пушкина, Батюшкова, Гоголя.

Ввалились раскрасневшиеся дети, посыпались на пол вязаные снежные рукавицы в катышках снега, тут же росисто покрывшиеся шариками воды, потные шапки.

Самогон кончился, но Костя разошёлся и выставил коньяк, на что Тоня метнула из своих чёрных очей молниенный взгляд. Она продолжала что-то готовить, и, наблюдая её кулинарные манёвры, я недоумевал. На столе стояло всё необходимое для празднования псовой погоны вкупе с бабы Катиным и Эдиным явлением, а Тоня всё наращивала хлопоты. Когда я увидел, что она нарезает коржи из круглого бисквита, вытасченного из духовки, и собирается промазывать их кремом, я почувствовал какую-то догадку, переходящую в тревогу... наряду с чувством одуроченности и открытия, что всё это не для нас, и стыда за постыдную мгновенно-невольную надежду на закусочный кексик. И следовательский азарт, когда открылось, что Тонины коврижки к нам с Костей и даже к детям не имеют *никакого отношения*. А разгадка приближалась, и тому свидетельствовала лёгкая отлучка Тони и её появление в сером трикотажном платье.

Потом Тоня сказала, чтобы мы “валили кормить собак”, и мы вытолкались и встретили в тесных сенках Валентину Игнатьевну с тортовой коробкой: “Ой, не помните!” У стены на канистре стоял замороженный петух в пере, грязно-белый, видимо, его вытащили из морозилки проветриться. Он был плоский и, как звезда, расшарпанный, голова смотрела набок, будто он держал равнение. Костя выскочил вперёд Валентины Игнатьевны, а я не успел и стоял, прижавшись плоско к стене и глупо повернув голову, чтобы не дышать самогоном, — совершенно как замороженный тот петух.

Мы пошли в вольер. На всю свору посуды не хватало, и собаки ели из трёх тазов, запуская носы в кашу, чавкая, рыча и пуская бурлящие пузыри. Одновременно они норовили перебежать и попробовать побурлить из другого таза, расталкивая товарищей и грозя надводной сварой, и надо было стоять и управлять кормёжкой с помощью специальной палки. Один кобелишка по глаза засунул нос в корм и, не прекращая его свирепо морщить, без перерыва рычал, грозно пробублькивая сытную жижу. И с негодованием поглядывая на соседей.

Я спросил Костю, почему сразу не сказали, что надо закругляться, раз ждут гостей. Он ответил, что напрочь забыл и что “ничего страшного”.

— Они переговорают сейчас... Да какие секреты...

Оказалось, Тоня метит в школу учителем биологии, поскольку она работала в заповеднике в отделе экопросвещения, и что у неё в планах всякие факультативы и “комплексная какая-то задумка по формированию современного мировоззрения”. Экопросвещение Костя произнёс как “эко просвещение!”

— Кость, а Тоня на меня не сердится?

— Да нет, она просто из-за директрисы дёргалась. А так нормально, наоборот, даже хорошо, может, ты слово замолвишь. Куда лезешь?! — закричал он на кобелишку, перебежавшего к чужому тазу. — Ну, директрисе. Из своего жри! Пообщаетесь. Хантер, кому сказал? Тоня очень свободный человек, и если кого-то захочет поддержать, порвёт просто всех, ну, за идею... Ах ты скот такой! Она всегда правду-матку рубит... Да ты смотри на него, вообще не реагирует! Ну, нельзя! Мы из-за этого уехали с Бурятии. Там такой начальник, она, короче, в Старгсб... стбугрс... Одну рыбу выбирает! Смотри, привереда! Я те погрызаюсь! Крупну не ест совершенно!..

в страсть... страсбург... гд... кский суд подавать хотела. Там люди серьёзные. Когда вместе, они лучше выедают.

— Ничего себе! — И я подумал о том, что Антонина всё меньше напоминает мне героиню “Чистого понедельника”.

Кого-кого, а Игнатъевну я не рассчитывал встретить, особенно после проезда на собаках с бабкой в обнимку. Я в очередной раз засобирился домой, но Костя сказал: “Давай тогда возьмём что-нибудь и пойдём в баню”. Мы зашли в избу: кухня была пуста, зато в комнате за аккуратно накрытым столом сидели хозяйка и гостя. Валентина Игнатъевна, обнажив зубы, осторожно, чтобы не повредить помаду, кусала бутерброд с сырными опилками. Я забрал перчатки, а Костя сказал: “Я гостя провожу, дай нам ещё закуски”.

— Сергей Иванович? — сделав удивлённые глаза, сказала Тоня.

— Пойду. У меня тоже собаки.

— У вас же одна, Сергей Иванович! Что за северные надбавки? — заговорила Игнатъевна, видимо, давно наработанным застольным тоном. — Вот видите, Антонина, директор в сельской школе знает даже, сколько у кого собак в коллективе, хе-хе!

— Да нет. У меня две.

— Откуда же две? Я знаю, что у вас одна. Этот, как его... Быстрый.

— Храбрый. Храбрый и... “Каштанка”, — сказал я и тут же пожалел, потому что выходило, будто выпгораживаюсь, намекая, что пойду проверять сочинения по Чехову — смотрите, какой молодец!

Валентина Игнатъевна оценила шутку и засмеялась. Возникло между нами некое показательное со стороны Игнатъевны единение, которое часто возникает на людях среди сослуживцев.

— Сергей Иванович, — сказала Валентина Игнатъевна, придумывая повод, чтобы меня задержать, видимо, и ей, и Тоне я был нужен, чтобы смягчить деловую сторону застолья. — Чуть не забыла, хорошо, что вы мне попались, я ещё в сенях подумала. Я вам хотела сказать про фильм... Так что посидите.

Тоня чутко подстроилась, да и подконтрольное освоение нами коньяка было предпочтительней посиделок в бане:

— Конечно, Сергей Иванович, ну, посидите с коллегами, — сказала она, играя, и, продолжая роль, обратилась к Валентине Игнатъевне: — Начинаю вливаться в коллектив! И как же чай? Смотрите, какие Валентина Игнатъевна замечательные безе принесла.

— Без чего? — сострил Костя. На что Тоня, пожав плечами, презрительно-укоризненно хрюкнула и отвела, прикрыв, глаза..

Я снял куртку и вернулся, к радости Кости, который тут же взвис над стопарями с остатками коньяка. Валентина Игнатъевна сделала поползновенье накрыть рукой стопку, а потом вдруг разгульно махнула ладошкой:

— А давайте!

— Что за фильм? — спросила непьющая Тоня. — Я могу поинтересоваться?

Я назвал.

— Мы его, конечно, все посмотрели, — сказала Валентина Игнатъевна. — Я что хотела сказать, Сергей Иванович? Фильм сильный, ничего не скажешь. Но вот Лидия Сергеевна считает, что он всё-таки слишком жестокий, особенно эти документальные кадры, поэтому я как-то пока не готова такое показывать детям...

— Валентина Игнатъевна! Дорогая! — я никогда к ней так не обращался, но затеянная ею же игра в производственную близость и добротный самогонно-коньячный хмельёк давали на это право. — Это не жестокость, а воспитание сострадания. Выявление и закалка болевых точек. А жестокость — это круглосуточные сериалы, где по пять трупов за серию, чего никогда не бывает... в оперативной практике. — Меня очень вдохновил этот оборот. — Когда жизнь и смерть теряют своё... э-э-э... сакральное значение, они превращаются в материал для коротания досуга. Этого Лидия Сергеевна не боится? Валентина Игна-тъев-на! Вы же на военной хронике вы-рос-ли, вспомните: уходящий на фронт состав и солдаты в теплушках. И “Прощание славянки!”

— Жестокость в сериалах не затрагивает чувств, поскольку все понимают, что это кино, — с показной чёткостью вдруг сказала Тоня, — а когда хроника, особенно кадры казней, извините — это совсем другое... Уж поверьте, я немного знакома с телевидением...

— Да чушь! — меня рассердил Тонин, извините за каламбур, тон, с которым она, как мне казалось, рисовалась перед Валентиной Игнатьевной. — Таких кадров в фильме не больше, чем в нынешних новостях... А то, что мы не воспринимаем в сериалах смерть как смерть — это либо искажённое представление о сути вещей, либо... на экранах давно уже не искусство.

— Можно я скажу, — по-школьному вытянула руку Валентина Игнатьевна.

Все почтительно затихли.

— Мы уж не будем вдаваться в высокие материи, но я вот что думаю о фильме: давайте пока не спешить. Не спешить... А вы, Антонина Олеговна, смотрели этот фильм?

— Да, конечно, — сказала Тоня в тоне той же чёткости и в одно слово “даконешно”. Очень причём образцовое. И с оттенком “да конешно и имею что сказать”:

— Мракобесие.

— Понял, — сказал я с оттенком “больше не надо”, произнеся слово “понял” быстро, по-оперативному, как произносят по связи. И молясь, чтобы Валентина Игнатьевна не спросила: “Почему?”, чтобы не заварилась сваря — слишком хороши были и день, и вечер, и стол.

Я давно заметил, что русские люди по своей природе гораздо уживчивее, чем их стараются изобразить писатели и драматурги, делая застолье точкой идейных раздоров. В жизни мирный и весёлый настрой всегда перевешивает перспективу порчи отношений. Тем более, как мы уже выяснили, для большинства трудовых людей так называемые взгляды не повод, чтобы обострять отношения “по пустякам”, особенно в деревне. Но когда в расклад добавилась ещё одна единица, грозящая стать государственной и смешать баланс, я засомневался, удастся ли удержаться в покладистом русле.

— Поняли — в смысле “дальше не надо?” — бритвенно-остро улыбнулась Тоня.

— В смысле понял.

— Почему? — спросила Валентина Игнатьевна. Выходило, что если до этого мы просто спорили, то теперь старались ради Игнатьевны, а друг в друге видели лишь повод для красноречия.

— Почему мракобесие? — сказала Тоня неторопливо, будто специально укатывая это слово в дорогу нашего разговора, чтоб не вызвала сомнений его правомочность. — Ну, во-первых, религия даёт людям надежду на посмертную жизнь. Если б этой иллюзии не было, люди бы старались сделать жизнь на земле более счастливой и безопасной. Несмотря на аргумент, что за всё придётся ответить, который не работает, потому что слишком абстрактный, далёкий и условный. Как стрельба в боевиках, о которых тут говорилось с таким жаром. — Произнеся всё это спокойно и уверенно, она на время опустила ресницы, словно промакнув свежесказанное. — А во-вторых, я категорически не согласна с тем, что если Бога нет, то всё дозволено. Моя атеистка-бабушка никого не убивала, не воровала, не прелюбодейничала и разбивалась ради людей в лепёшку. Хотя часто они того и не стоили. И у неё была твёрдая позиция: если мы хотим получить людей думающих и образованных, нельзя преподавать то, что противоречит современной науке. Я с этим согласна, хотя считаю, что школьников нужно, конечно, знакомить с Библией, чтобы они могли адекватно воспринять целый ряд произведений искусства. Но делать это должен специалист, а не священник.

Я недооценил Тонию, которая открывалась “как расчётливый риторик”. Зная свою способность сорваться и ляпнуть что-нибудь в сердцах, я сказал себе: “Ни в коем случае не спорь с ней, просто чётко говори своё”. Тоне я, правда, сказал совершенно другое:

— Во-первых, я не понял, при чём тут наука. Вы говорите так, как будто между наукой и верой существует противоречие. Как научный человек,

вы, наверное, слышали слово “ниппель”. Вы знаете, что такое ниппель? — Я прямо пританцовывал на этом двойном “пп”.

— Ну да, — не понимая, куда я клоню, настороженно улыбнулась Тоня.

— Бравенько! Дак вот нип-пель, Тонечка, это, говоря по-нашему, по-деревенскому, — игра в одни ворота. В большинстве людей науки наблюдается полное неприятие Православия, тогда как в людях верующих данное противоречие от-сут-ству-ет. Вспомните нашего Святителя Луку! И мне кажется, — сказал я в образцово-риторическом стиле, — что искать противоречия и вбивать клинья — более удел разрушителей, нежели созидателей, так как гораздо полезней искать общее... э-э-э, конечно же, если настроишь, как вы верно заметили, на счастье и безопасность. — Я скромно закруглился и опустил глаза.

— А я вам объясню, Сергей Иванович, в чём дело, — так же поигрывая, ответила Тоня. — А дело в том, что верующие просто вынуждены проявлять лояльность и гибкость, так как наука показывает полную беспомощность религиозных представлений о мироустройстве. И особенно недопустимо, когда малосведующие священнослужители или другие... кхе... властители... *былого...* и дум пытаются эти представления навязать школе, что и является мракобесием.

Я не обладал э-э-э... мгновенным и приемлемым для застольного разговора арсеналом аргументов, чтобы опровергнуть оппонентку, и применил обходной манёвр:

— Вообще-то вы мракобесием назвали фильм. Кстати, это и есть то самое “во-вторых”, о котором я едва не забыл. Почему?

Но, видимо, и Тоня подвыдохлась и тоже передёрнула карту:

— Потому что в этом фильме слишком явно навязывается позиция, которая далеко не для всех приемлема.

— В смысле, любовь к Родине? — наверстал я.

— Вот о любви к Родине... — медленно сказала Тоня, отыгрывая секунды для перегруппировки доводов. — Э-э-э... Я почему-то последнее время с ба-а-альшим подозрением отношусь к разговорам, — она говорила несколько протяжно, — в которых под любовью к Родине понимают совершенно разные вещи. Видите ли, мне кажется, что есть вещи настолько сокровенные, что их нельзя произносить, так сказать, *всеу*, я прошу прощения... за термин... — количество малозначимых слов в её речи резко возросло. — Бабушка моя, несмотря на то, что была доктором наук, а она по-настоящему служила науке, не выносила, когда кто-то говорит, “мы, учёные”, потому что... ну, как вам сказать... потому что это слишком... ну...

Образовалась то, что называется “напряжённая пауза”.

— Громко, — понимающе подсказала Валентина Игнатьевна, которая очень внимательно следила за разговором, будто проверяла и свои представления, и нас.

— Совершенно верно: громко! У неё была завлабораторией Генриетта Ароновна Беркенглит... Такая умная тётка замечательная, но немножко пафосная... Все её звали Веркин Клифт... И она всё: “Мы, учёные!” — а бабушка: “Гита, мы — не учёные. Мы — научные сотрудники”, — последнее она продекламировала по слогам. — И выходит, тех, кому “громко”, называют чуть ли не предателями. И называют те, кому это совершенно не громко. И не только не громко, а негромко настолько, что они рычат — прости-те, но мне близка собачья тема — и лают об этом на каждом перекрёстке. Причём очень заливисто. Да. Такая мо-но-по-о-о-олия на любовь, — с посылом и ветровым холодком продекламировала Тоня. Она говорила выразительно и артистично передавала прямую речь.

— Ну, вы знаете, есть профессии, в которых про себя любить не получается. Например, профессия учителя, — вдруг сказала Валентина Игнатьевна, как мне показалось, для подлития масла в огонь. А возможно, и для поддержки равновесья.

— Да что же мы всё время подменяем понятия?! Н-да... Поскольку я, в отличие от некоторых, кхе-кхе, начинающих работников образования не привыкла вести бездоказательные дискуссии, то мне придётся пуститься

в некоторый экскурс... Уж извините за казённый, так сказать, штиль... Так вот. Согласно законодательству, современное российское образование базируется на Всеобщей декларации прав человека, то есть на общечеловеческих ценностях, выработанных цивилизацией. В кои-то веки! Да жалко, что поздновато, как всегда. Главным принципом является демократизм, свобода и плюрализм образовательной сферы. А главной задачей — воспитание творчески мыслящих специалистов, профессионалов, которые будут активно участвовать в жизни общества, уверенно чувствовать себя в меняющейся мировой обстановке, когда новые технологии...

— ...И обновляющиеся инновации обламывают об нас всё новые и новые вызова, — вставил я, не удержавшись.

— Спасибо, Сергей Иванович. Вы очень тонко чувствуете собеседника...

— Пожалуйста, Антонина Олеговна. Видимо, это в моей педагогической природе.

Все эти обмены любезностями происходили без злобы и скрипа зубов и выглядели как остроумная перепалка, смысл которой до конца понимали только мы с Тоней.

— Поэтому профессия учителя предполагает полную объективность в подаче материала и твердую опору на фундаментальные научные знания. Любовь же — это категория эмоциональная, достаточно абстрактная и в силу этого очень открытая для всяческих идеологических спекуляций. И примеров тому тьма из предыдущей истории. Поэтому следует быть осторожными с подобными понятиями.

— Ну, да, — с некоторым недоумением сказала Валентина Игнатьевна.

Все эти рассуждения я слышал сотни раз и сотни раз зарекался не воевать с ними в мирной обстановке. Но сейчас, в связи с инновационными устремлениями Тони в школу, я молчать не мог.

— Не могу не внести ясность: общечеловеческие или, по-другому, либеральные ценности — это когда любую личность стараются понять до такой степени, что общество равняют на извращенца, а не на героя. Это к слову... А к делу: я не понял, почему фильм — мракобесие. Вот уж чего-чего там нет, так это мрака и тем более беса. Только свет и Бог. Поскольку, как я понял, ответа не предвидится...

— Простите!.. — выдвинулась вперёд Тоня, нешуточно сверкнув шамаханскими глазами.

— Не прошу тебе твоей измены, да и слов жестоких не прошу... — вспоминая Эдину школу, парировал я с улыбкой, — и постараюсь не отдаляться от темы. Мне кажется, что пресловутые люди, которые любят-про-себя, вовсе не такие мирные, как описала наша Тоня. И несмотря на мирный *Тонин тон*, я чувствую в нём лёд. Простите, хе-хе, за каламбур, что рушит лёд, как ледоруб. Так вот, эти любители просебятины, несмотря на все правильные слова, моментально встают на дыбы, едва услышат о традиционных ценностях русского мира, не менее монументальных, кстати, чем академическая наука.

— Минуточку! — попыталась снова вклиниться Тоня.

— Обошёл селезень уточку! Это раз. Второе. Тонечка, не сердитесь, пожалуйста... — попытался зализать я прогрессирующее эдуардство более даже перед Костей, хотя и не потому, что он “хорошо дерётся”, — как раз насчёт подмен. Мне кажется, что мы с вами всё время говорим о разных вещах. Какую область ни возьмём — одни и те же слова мы наполняем разным смыслом. Видимо, слов меньше, чем смыслов. Поэтому споры бессмысленны. Но почему же вы решили, что под любовью к Родине мы понимаем разговоры о ней, а не дела? Да. Люди, которые много делают для этой земли, они показывают зубы... Видите, Тоня, как я поддерживаю собачью тему! Но они показывают зубы только в одном случае: когда им... наступают на лапы. А про любовь... По-моему, всё это болтовня. И внедряя кошачье-мышачий строй — кошки-мышки с самим собой. Любовь или есть, или её нет. Любишь — принимаешь со всеми болезнями. Потому что сам — как одна большая и отдаленная лапа. А стыдливую засекреченную любовь я не понимаю. Это знаете, как парень, который все ходит кругами вокруг девушки... Мол,

зубы вставившись — женюсь. А потом, продолжая зубонозную тему, остается с носом. Обкраденный и обделённый. Самим же собой причём.

Тоня использовала мою речь для подготовки атаки:

— Сейчас с традиционными ценностями очень много спекуляций, так же, как и с любовью. Вот всё-таки хотелось бы поконкретней узнать, что же это за такие ценности. И почему мы с ними носимся и всё время о них спотыкаемся.

Я откашлялся, словно обозначая, что шуточки кончились, и сказал:

— Ну, во-первых, спотыкаются те, кто не смотрят под... лапы, то есть на землю, а во-вторых, мы не на лекции, да и не мне объяснять взрослым людям, что такое традиция и в чём её ценность. Лично для меня ценности, о которых идёт речь, заключаются в том, что они вдохновляют на подвижность людей, на которых бы мне хотелось походить. А так... Существуют фундаментальные законы физики, по которым живёт всё сущее на этой планете. Один из них до скучности прост. Его понимает не только Генриетта Ароновна Веркин Клифт, и понимала ваша замечательная бабушка, но и любой парень деревенский, у которого трояк по физике и который плевал на все вызовации. Это правило простое: чем глубже корни, тем крепче дерево... Собственно говоря, патриотизм — это всего лишь верность себе...

— Вы знаете, если бы так всё просто было, то деревья б никогда не падали, — невозмутимо сказала Тоня. — И Сергей Иванович, всё очень красиво, но к реальному делу-то какое отношение имеет? Все только и говорят о патриотизме, вместо того чтобы строить заводы.

— Да ладно?! — живо удивился я. — Первый раз слышу, что кто-то в министерстве образования говорит о патриотизме. Разве только в футбольном плане. И не понял, какие заводы? Никто не будет строить заводы. Такой цели нет. Есть совсем другие цели, и они определяются совсем другими людьми, называемыми мировой финансовой элитой. И всех удивляет: по какому такому собачьему, волчьему или лисьему закону страны могут разрушаться изнутри и одновременно усиливаться снаружи? И почему, когда наедает какая-нибудь зарвавшаяся держава, временное усиление той или иной страны вполне допускается? И что кто-то из финансовых лис вполне может перекатить... колобок своего центра в другое государство, особенно когда в нём всё для этого подготовлено. Да так, чтобы новые хозяева ощущали себя дома, так как скулили и твякать здесь уже будут на их наречье...

— А, ну, теория заговоров... — констатировала Тоня тем же энциклопедическим тоном, что и “архаичные уклады” и “мученики за веру”.

— Это не теория, а слова крупнейшего... лисовина: “*Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и банкиров безусловно предпочтительней принципа самоопределения народов*”, сказанные ка-а-ак раз в 1991 году.

Тоня демонстративно промолчала.

— Тоня, я сейчас назову три булавки, а может и три гвоздя, которыми вы пригвоздили традиционное мировоззрение: архаичные уклады, мученики за веру и теория заговоров. Вы о них сказали с характернейшей интонацией, как о чём-то мёртво-книжном. А это ярчайшие вещи. Архаичные уклады — источник животворной силы, которую хорошо чувствует ваш муж Костя. Мученики за веру — вполне конкретные нынешние люди, чей пример вдохновляет лучших представителей общества. А теория заговоров — это не теория, а... так сказать... вариант образного и доступного определения процессов, не обозримых для близкого глаза. Хотя вообще... если разобраться... — я обвёл взором присутствующих, — да всё на свете... теория заговора. Вот вы договорились с Валентиной Игнатьевной поужинать без нас — чем не заговор?

— Сергей Иванович, вы очень хитрый лисовин, — ударяя размеренно на каждое слово, не удержалась от смеха Тоня. Валентина Игнатьевна сияла.

— Лисо-свин, — не удержался и я.

— Вы сначала, как Чацкий, а потом за шуточкой прячетесь, — сказала Тоня, — Объясните нам, пожалуйста, что такое патриотизм?

— Пожалуйста... Это не так и сложно. У меня ведь тоже была бабушка. Коренная ангарка. Бабушка говорила: “Ране всё миром делали, а тичас нáразно”. Или: “У вас, беспут, пошто всё порозь-то?” Ещё она говорила

“Головизина”. Так вот патриотизм — это когда в твоей головизине всё не наразно, не порозь и даже не в кучу, а в жгут, в самый что ни на есть кишошный, совокупный и многоипостасный... э-э-э... жгут-плетенец! — выпалил я. — Когда чувствуешь Россию *исключительно* в совокупности всех её прожилин, пространственных, временных, хозяйственных, духовных, военных, воспитательных, научных, художественных и всяких разных, и пренебрежение хоть одной из этих жил-арматурин грозит ампутацией России, чем многие сейчас и занимаются. Как бабушку не вспомнить?! “До чего народ зарнай стал! Чо хотим — то и оттягивам! От стыдовішша-то где! “Не признаю языческую пору, только Православную”. Или наоборот: “Только языческую, Православье — иудейские ереся”. Или ишшо не башше: “Признаю только Русь до семнадцатого года. Всё, что опосля, — не Русь”. В чём беда оттяпки? Выделяешь идею, путнюю на первый погляд, а забываешь о людях и поколениях. От ить лень отыбала! Думаешь: “Да по каку змею нам в языческу память лезти, коли мы Православные?” Или: “Да не от лешака ли перинимать всё это ерусалимско приложенне к Христовой вере? О каку пору к сёлам да мужикам нашим принаурило-то лавры эти с кипарисьями?” Охо-хо-нюшки. Ты пошто ж такой-то? Пошто ж в века-то наши не заглядывашь? Думаешь, там одно околеванне? Да там свет немеркнувший...”

И думать-то надо не о чужеродности лавров, а о десятках поколений русских людей, живших в ту или иную эпоху, например, в великую православную. Об их победах. О том, каких высот они достигли, развивая христианство, совершенствуя его видение, каких гениев дала наша земля на этом пути! Какие достижения явила в святоотеческой литературе, в иконописи, в архитектуре. О том, как это в будущем отражается. И как наполняет душу. В общем, о душе думать, а не о лаврах.

И ещё, вы знаете, это... любовь, которой всё окружающее проклеиваешь по швам и которая тебя таким смыслом обдаёт, что ни на что не променяешь! Вы не представляете, какое это счастье! Это вам не общечеловеческие ценности из брошюры, которой без году неделя. “Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами” — не смейтесь, привожу дословно! От дак произведенне! От дак гумага! Ещё и написанная как попало. Разве ей можно служить? Как старовер про баптистов сказал: “Нашей вере тысяча лет, а вы тут с брошюрами шаритесь!” Гениально!

И конечно, патриотизм — это служение Отечеству как главное дело независимо от занятия. Для меня же пример — мученик во Христе, пресветлой памяти воин Евгений Родионов, казнённый врагами за отказ снять нательный крест. Будешь мерять судьбу Жениным подвигом — всё на место встанет. Аминь.

Настала тишина.

— Сильно, — сказал Костя. Глаза его блестели.

— А... куда же нам-то, смертным?.. — сказала, уютно потягиваясь руками и зевая, царь-девица.

Валентина Игнатьевна сказала:

— Сергей Иванович, я с Вами согласна. Только на прогресс вы зря, конечно, ополчились...

— Вы знаете, прогресс уже давно против человека работает, есть грань, когда его помощь оборачивается... такой зависимостью, что... — сказал я, чувствуя, что выдохся. Знаете, как в авиации, когда прошли точку невозврата...

Раздался грохот в сениях, выкрик “Долбаный петух!”, за ним стук в дверь и на пороге появился Эдик: было видно, что шёл он издалека:

— Доброго всем вечера! Аварийная ситуация. Костя, у тебя собаки на ходу? У меня аэросани встали, там, у Ерошкина Ручея. А я в воду оборвался. По пояс... Сушился. Костёр палил... Хорошо лопасть с собой. Ну чо? Надо ехать. А то рразберrrrrрут по винтикам!

Меня поражает плотность здешней жизни, когда кажется, что вокруг тебя только выжимки главного. В городе оно размывается, давится безличной его энергией. А здесь каждый человек вырастает до символа и выражает пласт мироустройства. И, конечно, никакая тихая размеренная жизнь здесь невозможна.

Мы проходим “Каштанку”, которую люблю особо, хотя и не понимаю, почему её считают детским рассказом. Я перелопатил прорву критики от глубоких исследований до “кратких содержаний” для ленивых школьников. О подобных трудах разговор особый, но меня всегда интересовало, что за паршивец их пишет и главное — зачем? “Пошто” не сидится ему спокойно, и откуда такое свербящее желание вываливать на всеобщее обозрение свою дурасть? Чем пустее человек, тем сильнее в нём зуд делиться и торчать с ней в обнимку на самом юру. Сей век особо учит отсекаать лишнее, иначе по дуракам сформируешь неверное мнение о человечестве.

“Каштанку” я ждал, даже предвкушал, потому что на ней пытаюсь показать ученикам одну из главных тайн литературы: совершенство замысла. Он в ней достигает метафоры и начисто лишён какой-либо идеи, кроме идеи простоты и правды. История эта настолько хороша сама по себе, что не требует никаких присадов.

“Каштанка” моя теперь напрочь скомкана историей с Тоней, что ещё раз подтверждает главное правило здешней жизни: не строй планов, всё пойдёт враскосяк. Что касается Тони, её стремление в школу ставит меня в заскорузлейшее положение: с Валентиной Игнатьевной я не в таких отношениях, чтобы уговорить её не брать Тоню на работу. Да ещё напорщить, обострить и спугнуть дело, которому она, я уверен, не придаёт такого значения, как я. И что я скажу? “Не берите на работу Антонину Олеговну, она детей испортит”? Почему не берите? Потому что она ненавидит Россию? У меня нет прямых доказательств, тем более она утверждает, что по-своему её любит. Что она работает на замену русских ценностей западными? Как именно она работает?

Если устроить обсуждение Тониной кандидатуры, то в производственных понятиях, которыми руководствуется нынче школа, я не смогу обосновать опасность Тони. И придётся подойти к корню вопроса, то есть осудить курс на отход от традиционных ценностей русского мира, на низложение России как независимой цивилизации. К тому же я почти наизусть знаю, что скажет Валентина Игнатьевна. Да и школьная жизнь состоит из такого количества ежеминутных задач и подробностей, что у нас даже есть анекдот: Валентина Игнатьевна идёт в воскресенье в магазин и видит беседующих двух учительниц. Возвращается, а они в том же положении. “Ну, неужели вам не хватило времени в школе наговориться?” — “Да в том и дело, что его-то у нас и нет”.

Я очень понимаю важность момента, когда, наконец, предлагается выбор: именно сейчас решается, может ли отдельный человек повлиять на происходящее. Общий процесс — это лавина, ветровая или водяная масса, которую невозможно остановить в одиночку, за неё не зацепиться, её не подковырнуть, не вспороть, не пригвоздить ломом. Но сейчас я в точке, где масса докатилась до упора и рассыпалась, распалась на неделимые частицы. И решается судьба одной частицы, заряженной осознанным и готовым к внедрению мировоззрением, и решение в моих руках. И эта отрицательно заряженная частица разрастается и заполняет мой разум и совесть, моё существо, оплетённое отношениями с окружающим, и эти отношения начинают непредвиденно искажать мои же представления. И то, до чего рукой подать, отступает и меняет очертанья, коробится, как береста на огне.

Когда одержим неизбывной тревогой за свою страну, болью, которая не проходит ни днём, ни ночью, то живёшь совершенно другой жизнью и по другим законам, чем остальные. Но ты не можешь требовать от остальных подобного. Ты противопоставляешь себя почти всему, и для рядового человека это потрясение, полный пересмотр ценностей. Тем более для такого

существова, как женщина, которая любой войне предпочтёт мир. И я знаю, что в лучшем случае скажет Валентина Игнатьевна:

“От педагога сегодня требуется квалифицированное преподавание дисциплин, но если он будет проводить взгляды, которые повредят нашим детям, то законодательство всегда позволит нам поставить его в нужные рамки, на то мы и коллектив, и руководство. Есть обязанности, а есть взгляды — это разные вещи, и в том моя роль как директора — разрешать подобные вопросы. А взгляды, повторяю, — это личное дело человека”.

Ответить, что в вопросах мировоззрения не бывает личного, потому что из мировоззрений складывается окружающая атмосфера, — тема грызватая и разноречивая, и мне всегда скажут, чтобы я не усложнял сложного и занимался “прямыми обязанностями”.

Странно: вот размышляешь над тем, как выстраиваются в дорогу маленькие и большие события. А потом тревожные твои наблюдения обращаются в мысли, идеи и понимание того, что следует делать. Но как только ты пытаешься воплотить идею в жизнь, вернуть её существу, она немедленно зарывается в тех же мельчайших морщинках жизни, обобщением которых она и явилась. И трудно выволнить её, особенно в одиночку.

Люди вроде Валентины Игнатьевны никогда не идут против общества, а люди Тониного склада делают это с пылом и вызовом, и “достукиваются” до всяких Страсбургских судов, в то время как простым людям чуждо противопоставление себя остальным, правдолюбивая “заедливость”, в которой всегда есть что-то несколько постыдное. Тем более, едва борьба за справедливость начинается, она незаметно и подленько стачивается о жизненные же зазубрины. И попутно навязчивой собачонкой возникает ещё одна правда, которая так же незаметно трансформирует идею, постепенно отбываясь и округляясь на её же издержках. Поэтому я отчасти согласен с Тоней, когда она говорит, что не приемлет разговоры о патриотизме, именно потому, что от идеи до воплощения — пропасть.

А мы, совестью, поддаёмся то стыду, то ещё каким-то тонким чувствам, с которыми совершенно не церемонятся люди заедливого пошиба. И у них всё получается безо всякой трансформации и захлёбывания в человеческом. Сами же общественные подлости происходят постепенно, будто каждый совершил только сотую часть предательства, но “вотнером” оно сложилось в нечто полное. Будто люди участвуют в этом каждый незаметным движением, но они суммируются, и эта объединённая, сплавленная из сотен уступочек неправда оказывается гораздо более ликующей, чем неправда отдельного человека.

Есть прекрасные речные слова — быстерь и падун. Думаю, они сами за себя говорят, но для незнающих объясню, что падун — это старинное название водопада. Так вот, чем больше смотрю на мировую историческую быстерь, тем яснее чувствую, каким падуном она оборвётся. И нам бы не лезть, а спокойно поставить плоты в боковой протоке, да добывать рыбу, да покосы расчищать, а там, глядишь, ещё и воду увести... А кто хочет, пусть и валится. И мы имеем все основания противостоять, но нет... Видим, какой тащит хлам, брёвна, доски, и лезем, прыгаем на эту скользкую блестящую доску с нашими же противниками, лезем к ним на плашкоут, за стаканы, стол, за тарелки, к пороссятам, к капустке, где нас не ждут, ибо пир несправедливый, да и время чумное.

Под чумой я подразумеваю отказ от мало-мальского задумывания о цели цивилизации, о наведении порядка на земле. Но самое худое, что пока не решишь главных вопросов в себе, и в наружном не сдвинешься. Мне кажется, что бесконечное противопоставление разума и сердца, идейного и человеческого — признак какого-то огромного изъяна, хотя у меня он на каждом шагу, и я знаю, что пока не воспитаешь в себе мудрость сердца, так и будешь мучиться и ломиться в открытые ворота... И снова не могу не думать о постоянной какой-то парности: идейное и человечье, личное и общественное, и чем больше думаю, тем больше понимаю, что раз идёт вопрос парой, то пусть парой и отвечает.

Вроде бы стараюсь понимать каждого человека, а для этого приходится быть то Валентиной Игнатьевной, то Козловским, то Эдею. И нет человека более одинокого, чем я. Но только Тоней почему-то не хочется быть.

Как появляются люди с ощущением происходящего? Какая черта за это отвечает? Что это — счастье или наказание? Почему из окружающих дальше всех по этому пути ушёл Гурьян? Я заметил, что духовным зрением обладаю те, кто охраняет полюса, границы; это люди, набравшие выси через знание или, наоборот, совсем простые, сквозь которых земля говорит, прилегающие к ней беззазорно, вплотную, потной рубахой к гигантскому телу и будто не имеющие своей толщины. Но самое взлётное движение имеют те, кто прошёл путь от земной подорожной близости до исторического и религиозного осознания этой земли и соединяет в себе обе границы и то, что между ними. Потому что откровения даются лишь при перегрузках, когда ощущаешь себя ещё двоящимся. А хуже всего тем, кто оторвался от почвы, а к выси не пришёл и так и колышется, грохочет листом железа — заходи, приподнимай, качай любой ветер...

Я нахожусь на самом конце ваги. И пытаюсь сделать то, что надо делать совсем в другом месте, а именно — в её основании, в комле, это понятно даже тем, кто не сталкивал обсыхающий плашкоут с поросятами. Но туда пока не добраться, хотя мне кажется, что мой уход в дальние места — это замах для мощного и неведомого броска, что откат для набора силы необходим, да и землю свою знать надо, коли наградил тебя Господь даром защитника. Картина-то жестокая, но я надеюсь на Бога и уверен в единственном: чем сильнее нас жмёт миропорядок, тем негасимей очаги духовного сопротивления внутри России.

Не знаю уж, какой образ учителя литературы сложился в голове Валентины Игнатьевны после незабываемого воскресения, но вскоре я был приглашён к ней в кабинет:

— Вы так хорошо говорили, Сергей Иванович, у вас ораторские способности... Я что хотела сказать: в Казаринском учителя делают литературную гостиную, почему бы нам не организовать что-то подобное? Вы могли бы воодушевить и школьников, и учителей, а может быть, и кого-то из жителей посёлка. Как вы к этому относитесь?

Я сказал, что отношусь хорошо, а потом глубоко вдохнул, внутренне перекрестился и сказал:

— Валентина Игнатьевна, я имею достаточный опыт работы и хорошо знаю, что такое школа сегодня, когда педагогов загружают огромным количеством бумажной галиматши, которая только отвлекает от работы и по сути является имитацией деятельности, так как никак не связана с эффективностью образовательного процесса. Это очень усложняет работу, потому что на первое место подчас выходят вещи второстепенные и подсобные... Тогда как главные, *сутевые*, — козырнул я, — оказываются отодвинутыми на второй план. Но я к делу. Я понимаю, что Антонина Олеговна квалифицированный специалист, но прошу вас десять раз подумать, прежде чем брать её на работу. Это не тот человек, хотя формально я не могу ей предъявить ничего. И настаивать ни на чём не могу. А чтобы это не выглядело как наушничество, готов о своей позиции доложить Антонине Олеговне и Константину.

— Ой, Господи, я даже не знаю... Сергей Иванович, вы человек со взглядами... Ну, сейчас на свете другие представления, мы же не можем стоять на месте. И заставить всех думать, как вы... Наша задача — донести, а все сами решат.

— Да как же они решат-то? Без нашей поддержки?

— Сергей Иванович, я уважаю вашу гражданскую позицию... Но мне кажется, что вы преувеличиваете... Преувеличиваете... К тому же я хочу вас успокоить: всё не так однозначно с единицей. Вы правы, действительно огромное количество текущих вопросов. Меня долбит обнадзор... Нам урезают финансирование, и в этом году мы, как вы знаете, собирали с родителей деньги на бесперебойники. Так что по Козловской давайте не будем впадать в панику. Да, в панику. Сейчас ещё непонятно. Я буду связываться с районом и тогда окончательно станет ясно, есть ли такая возможность или нет.

Хотя Антонина ничего *такого* не говорила. И я не понимаю, почему вы так беспокоитесь. И давайте не будем спешить с выводами... Я рада, что вы понимаете... У нас действительно полно проблем. Вот что далеко ходить: Пират укусил бабу Катю за... ягодицу, и она вчера мне мотала нервы в течение часа, и я ничего не могла поделать... Человек пожилой... ну, и сами понимаете, недалёкий.

— К сожалению, Валентина Игнатьевна, я преуменьшаю. Идёт действительно замещение ценностей.

— Ну, раз так пошло, что мы можем сделать?

— Как что? Поставить заслон. Вася, Коля, Петя, Яна, Рашид — все вместе встали и поставили заслон. И всё. Вы же понимаете, что такое толерантность? Это запрет на заслон.

Валентина Игнатьевна положила руку мне на колено:

— Сергей Иванович, вы молодой... Оглянитесь вокруг: такая жизнь интересная... Пожалуйста, не драматизируйте, я вас очень прошу. И поговорите с Колей. Для меня сейчас это важнее всех заслонов.

С Колей я поговорил, и он привязал Пирата на несколько дней, но скорее из охотничьих соображений, чтобы ему кто-нибудь не прокусил лапу накануне охоты. История с Пиратом, собачьей упряжкой и бабушкой Катей глупым образом нас породнила и ещё усилила мою мужицкую несостоятельность в глазах мальчишек, в первую очередь, в глазах Коли, перед которым я всё сильнее чувствую себя практикантом.

Я задал сочинение на старинную тему "Почему Каштанка вернулась домой". Девчонки, я был уверен, напишут, что Каштанка очень верная и что дома "её тискают, но любят". Лёня с Тониной помощью доложит, что некоторые народы не могут без унижения и предпочитают ярко освещённой арене лень и бессмысленность. Коля... Вот именно, что скажет Коля, меня и интересовало больше всего, учитывая его внешкольные *неурочные* силы, которые никак не удавалось приложить к делу. Я был уверен, что собачья тема близка Коле и может стать помощником в учёбе.

Каково же было моё разочарование, когда я увидел перед собой Колино художество, состоявшее из таких предложений:

*"В произведении А. П. Чехова рассказывается о собаке Каштанке. Она принадлежала сыну столяра Федюшке. Так случилось, что Каштанка потерялась, попала к дрессировщику и начала выступать в цирке, где и увидела старых хозяев и сбегала к ним прямо с арены. Казалось бы, незатейливый сюжет. Каштанка полюбила нового доброго хозяина, а скучала о старых, которые хотя и обижали её, но были роднее и ближе. Весёлые эпизоды здесь соседствуют с печальными. Смеёшься, читая, как хрюшка, гусь и кот, делая пирамиду, пошатнулись и упали. Печалишься о бедном гусе Иване Ивановиче, который заболел и умер оттого, что в цирке на него нечаянно наступила лошадь".*

И в таком духе с концовкой:

*"История Каштанки не оставляет равнодушным. Не зря говорят: собачья верность. Несмотря на то, что в этом произведении много грустных сцен, оно оставляет в душе светлое чувство".*

Сочинение было списано и скорей всего при поддержке Агашки. Я поставил Коле двойку. Коля фыркнул и набычился:

— Почему-у-у? Я же написал.

— Я после урока тебе объясню почему.

После урока он подошёл:

— Сергей Иванович, вы мне почему двойку поставили? Я же написал. — Главным было, что он писал, тратил силы, а его обидели.

— Ну, во-первых, в сочинении так и не сказано, почему Каштанка вернулась домой. Дётся просто краткое содержание. А главное — ты его списал.

— Я не списывал.

— Списывал.

— Докажите, — негромко сказал Коля, глядя в пол.

— Да ничего я не буду доказывать. Сам думай. — Я уже хотел закончить разговор, как вдруг предложил: — Коля, а давай я не буду ставить двойку в журнал, а ты... напишешь новое. За выходные.

— Не-е... — было проскрипел Коля.

— Слушай, давай так. Напиши сочинение на свободную тему: “Почему я люблю свою собаку”. Только хорошо напиши. Как есть. Договорились?

Коля насунился и ушёл.

В нашей школе несколько выходов, один — из мастерской. Вечером, уходя последним, я увидел свет в мастерской и зашёл. Со стороны уличной двери я услышал запах табачного дыма и звуки, свидетельствующие о том, что на крыльце толкуются парни. Шёл какой-то разговор, и в одном из голосов я без труда узнал голос Коли, говорившего неторопливо, веско и со своим если не шиком, то уж точно *шичком*:

— ...Женёк, остынь, я бы поехал тогда с вами... не вопрос. Да тут сочинение ещё... Каштанка кака-то... Бася, дай спички. Благодарю. — “Благодарю” произнесено было особенно вразвалочку и невозмутимо. Пауза, выдох: — Не знай, чо он докопался с ней? Кхе... Кхе-кхе... Да что, блин! Такой силос эта “Тройка!” Кхе... Про чо я?

— Про эту... Каштанку.

— Но. Дармоедка. Я её за собаку не считаю. Избяная наскрозь... Я вообще сучек не люблю. У меня была... Этот отдал... как его... По белой-то ушёл... Ну? В пожарке работал...

— Лыткин?

— Лыткин, ну. У него брал. Кыксой звали... Изовьётся, как лиса, а тяму — ноль. Старые следя гонят... Вот кобель у меня — я понимаю, он и по птице, и по соболу идёт... Стал бы он на этого, хе-хе, гусака смотреть, сразу б башку от...уярил! Ха-ха! (Все заржали) А эта ещё и дура тёмная. Чо она к этому синяку вернулась? Мало он её метелил. Х-хе. Хотя хрен ли неясно: у клоуна пахать надо, а стбляр и так накормит.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Снег, доставивший в то воскресенье столько и весёлых, и тягостных забот Серёже, стаял, обнажив землю. Какая-то высота рухнула, когда взгляд, приладившийся к свету, упёрся в серо-жухлые стебли репейников, которые ещё недавно с таким строгим совершенством объёмно и звёздчато обводил снег.

Всё снова шло не так, как Серёжа ожидал, и была в этом неподчинении ожиданиям своя опережающая правда, которая, как гнётом, удавливала пласты происходящего, перекладывала то трагическим, то весёлым, давала и смысл и осмысление, а вместе с тяжестью ещё и приятие, согласие, какое по плечо сильному. Бывают люди, у которых края души как топором обрублены. А у Серёжи они были постепенные, ворсисто продолжающиеся в других людей. И за себя, и за окружающих он вечно стыдился и огорчался, и, пытаясь всех понять, был в самой сердцевине мощным, калёным, как ядро. Но о своей силе не ведал и продолжал считать себя слабым, податливым и пред всеми виноватым. И в этом неведении была его двойная сила.

Настроение было напрочь срублено и Тониными планами, и разговором с Валентиной Игнатьевной, которая, сама того не желая, работала на реформуляцию русской жизни, впервые на его веку столь тотальную, несмотря на всю постепенность, которая как раз и говорила о серьёзности происходящего. Когда огромный и родной мир вдруг оказывается неспособным отловить угрозу, потому что его ячея слишком крупна и не рассчитана на столь мелкочейистого, вернее, мелкотелого, всепроникающего противника. И главным ощущением было, что Россия — не живущая единым духом страна, а сборище разных по мировоззрению людей, которые, конечно же, объединятся в случае чего, чтобы защитить кровное, но разница между которыми и той состоит в том, что для тебя это “в случае чего” давно уже наступило.

Серёжа попробовал помолиться, но вопреки поверхностному мнению, что чем дальше, тем легче верить, дальше было как раз труднее, и вставала нужда в совместной молитве. Храма в посёлке не было, хотя о строительстве поговаривали. В таких краях храмы особого стоят. Над малонаселёнными районами северо-востока России, где звёздному ясному небу под стать тончайшая зыбь облаков, где всё, что есть на земле тёплого, вмиг выстывает и уносится ввысь, и молитва возносится беспреградно крепнущей струйкой. И нигде людские чаяния не обнажены так разверстому небу.

Конечно же, Серёжа не походил на тех, кого можно сбить с пути, но страдания вправду были велики. И, как он в городе ждал, что отпустит душу по приезду в деревню, так теперь ждал снега, чтобы отпустило на озере, куда он уже стремился, как к последнему спасению. Но стояло тепло, накрапывало, и умиротворяющие звуки капли звучали кощунством.

В пятницу снова заволокло небо, но уже по-зимнему с северо-запада, и пошёл несильный снег, переставший к утру, но вернувший чёрно-белое равновесие округе и знакомую оторочку траве и репейникам. И было удивительно и знаменательно, что это был день преставления Серёжиного святого Сергия Радонежского.

Серёжа встал затемно. В окно виднелись репейники и рябинка с крупнозернистым снегом на пучках ягоды. Даль чуть приподнялась, но облака продолжали двигаться с северо-запада, изредка открывая нежное оконце с рассветной, туманной ещё рыжиной.

Серёжа подошёл к собачьей будке забрать кастрюльку. Она лежала перевернутая, и он увидел в этом нечто смешное и умильное, будто пёс полел и перевернул посуду, как делают люди, показывая, что наелись. Идти до озера надо было километров шесть по тропе. Храбрый, понимая Серёжины сборы, то дрожал от нетерпения, то носился из стороны в сторону: на снегу, как от шершавого огромного дворника, лежал верный цепной след. Но едва Сергей отпустил кобеля, тот удрал на другой край посёлка, откуда доносились звуки собачьего фестиваля. Серёжа был уверен, что, видя ружьё, Храбрый побежит рядом, и не сообразил, что собаку и в тайгу надо выводить на привязке. Это и расстроило, и рассердило.

Останавливаясь и прислушиваясь, Серёжа долго шёл по тропе среди припорошенных кочек, надеясь, что Храбрый одумается и догонит. “Собаки залаяли, а я уже тут!” — почему-то вспомнилась Вовина прибаутка, успокоила и, как часто бывает в лесу, привязалась на целый день. О чём он думал? Да как-то обо всём сразу и отрывками — настолько был полон надежды и волнения. Озеро открылось белым просветом среди лиловатых пихтовых стволов, стянутых морщинистыми кольцами. Вдоль озера шёл тёс, по которому Серёжа вышел к избушке. Ветка торчала из-под крыши. Серёжа первым делом спустил её на землю и, когда задел ею о столб навеса, гулко и двузвучно отдалось и в себе, и в объёме двускатной крыши.

Ветка лежала перед ним. Тонкостенная, с веретённо-острыми кормой и носом. Внутри на сухом пепельном дереве скульптурно костенели следы от тесла — мелкая волна не то будто от ложки, не то от сохачьих зубов, как на лежащей в тайге осине.

Пока грелся чай, Сергей с интересом и симпатией осматривал избушку: стены, полки с журналами, толстое стекло с паутиной в углу и сухой мухой, комариновую мазь на столе, похожую на заварку, серую массу мёртвых комаров на подоконнике.

Разгорячённый жаром печки, подразомлевший, он вышел на улицу в окруженье гладких и кожистых пихтовых стволов, ощеренных сухими и игольно выгнутыми сучками. Когда, выходя, толкнул дверь, картина в дверном проёме дрогнула от горячего воздуха, став ещё прекрасней, притягательней. И оплавленным стеклом пролилась в душу, забирая, как хмелем, только чище, родниковой. Серёжа даже хотел дотопить дело коньячком из плоской бутылочки, но сдержался и отставил на потом.

К берегу вёл припудренный снегом кочкарник, но не моховой, как в тайге, а травяной, в повядших волосах-стилетах, и Серёжа тащил ветку меж светлорусых спящих голов, с которых сухо слетал снежок и которые были

очень высокими и шатко клонились, если на них наступить. Перевернутая дюралка лежала белой спиной к небу.

Сергей готовился к этому дню со всей дотошностью. У него был специально сшитый суконный костюм, и от сукна ещё шёл масляный запах станка. Серёжа очень любил кожу, сыромятные и юфтевые ремешки, которыми всё увязывал. На поясе висел нож в рыжих кожаных ножнах с тиснением — сидящий глухарь и лабаз на трёх соснах. Сухое нутро ветки так всему этому шло, и от взаимосвязи, круговой поруки любимого он умилился и в один момент почувствовал, как почти навернулись слёзы.

Вдали раздался собачий лай, но по низкому голосу он понял, что это не Храбрый. Чуть подпортилось настроение — нарушилось чувство обострённого одиночества, настолько гулкого, что свидетель — как трещина. Он снова попытался сосредоточиться на ветке, а потом и лай прекратился.

Озеро оказалось очень длинным и нешироким, метров сто самое большое. Ледяной припаек у берега был совсем узким. Под той стороной припаяк, наоборот, ширился, и в нём торчал во льду плот, на котором Мотя караулил уток, и ещё какой-то замороженный серый предмет. Серёжа поставил ветку на воду и, надавив рукой на её дно, почувствовал, как упруго выдавливает лодку вода.

На ветке Серёжа не ездил лет семь, но помнил и её удивительную вёрткость из-за круглого днища, и то, как эта вёрткость проходит, обращаясь в стремительность с одного гребка весла. И помнил правила: не стрелять поперёк хода и очень внимательно вылезать на лёд — замком взяв и порку (так называют поперечную распорку), и древко весла и оперев лопасть о твёрдое.

Сначала он попробовал проехать без ружья и снаряжения. Снял ремень, и когда сел, ветка заходила частым и угрожающим ходуном, но он успокоил, уговорил её, и она затихла. Описав круг, он вернулся к берегу. Ноги подрагивали. И от волнения, и от напряжения — посадка задницей на пятках требовала привычки. У берега серебрился кружевной ледок. Серёжа решил попробовать, как этот лёд себя поведёт, если придётся подъехать в другом месте. Осторожно подойдя боком, попробовал лёд веслом — тот легко ломался. Тогда он подошёл носом, и лёд расступался с хрустом. Серёжа расчистил целый причал, и аккуратно пришвартовался, положил весло поперек ветки на порку, так что лопасть оперлась о берег. Выбрался неуклюже, неверно ощущая правой ногой опору и видя веточье дно в черпачниках от тесла, в котором чуть темнела водица, алмазной шариковой строчкой натёкшая из щёлки в носу. “Замокнет, — спокойно и уверенно подумал Серёжа, — надо банку взять”.

Потом не спеша подпоясаясь ремнём, на котором висел нож, кожаные торока́ и в который была вставлена железная скобка для топора, и помешкал: топор в ветку положить или оставить в ремне? Если оставить — топор упрётся концом топорница в ветку и будет неудобно топыриться. Серёжа положил его на днище с гулким стуком, и резонатор ветки раскатил этот звук над водой. Положил сеть с круглыми берестяными поплавками, двуслойными, жёлтыми и прошитыми по краю толстой ниткой. Не обязательно он её поставит, но пусть дополняет пейзаж. И всё-таки он волновался. И рука чуть дрогнула, когда кидал в ветку грузик — ржавую обойму от подшипника. Подпоясаясь поверх ремня ещё и патронташем, повесил на шею фотоаппарат, положил ружьё в ветку...

Едва весло отпустилось от берега, неловко цепанув лёд и чуть сбив плавность, едва настал первый гребок, как открылась полётная, крылатая и упругая тяга... И он полетел.

Однолопастное весло Серёжа переключивал из руки в руку. Ветка скользила волшебно, и даже небольшое движение тела давало подвижку, посыл вперед или в сторону. Когда погружал и вёл весло, лодка будто привставала на нём, и хотелось быстрее и быстрее... И окутало, обняло всего без остатка, что уже и не мыслилось, а только дышалось небесно и полно.

Вид озера с длинным поворотом и особенно красивым пихтачом. Две белые забереги. Серый скрадок во льду. И серое, оказавшееся упавшей с плота сидущкой: две чурки, соединённые доской... Ветра почти не было. Похоже,

в этом месте ещё и не браво из-за изгиба озера, но Серёжа точно не знал. А ветер как раз нужен, чтобы пошёл снег.

Будто услышав его мысли, качнулись пихты, ветерок прошарил поверху, не смутив озёрной глади. Серёжа перестал грести и смотрел, как скользит нос, и расходятся треугольником нитяные тонкие волны. Громко, чутко и прекрасно капала вода с весла, когда ветка скользила по инерции, будто в невесомости, и, пепельно-серая, она казалась удивительно родственной всему таёжному, живому. Он поднял весло, и вода с лопасти затекла в рукав. Он проследил движение струйки, сдержав дрожь и допустив к телу, и когда вода нагрелась, почувствовал, как породнился с озером через этот медленно погасший холод.

Закрыв глаза и, почти забывшись, впитывал огромность, одушевлённость и холодающее дыханье простора, красно отгороженного закрытыми веками. А когда открыл глаза, снова качнулись пихты, и с одной из них медленно сорвался и изогнулся дымный снежный шлейф, и через минуту, как милость, пошёл с неба редкий и очень крупный снег. Серёжа проехал дальше, к повороту озера. Ветер из-под тучки сначала пятнами покрывал воду. В повороте, где брал северо-запад, тёмной границей уже лежала шершавая рябь. Он ещё поработал к этой ряби, но стало пробирать, и Серёжа развернулся и погрёб обратно, подумав, что ветерок должен пошевелить последних уток. Пора стояла поздняя, основная утка прошла и тянулась лишь самая северная, морская. В Серёже уже переработалось ощущение тиши, и хотелось действия, промысла. И в этой безостановочности, неутолимости была та же справедливость, что и в полнейшем покое.

Север какое-то время налегал в спину, а за поворотом опять запал, и стало казаться, что тихо на всей земле. Серёжа решил проехать в другой конец озера, но вдруг налетели утки, три штуки, иссиня-чёрные, плотные, остро-стремительные, видимо, турпаны, и, описав дугу, резко спикировали. И Серёжа успел обострённым в такие секунды многооком зрением заметить над пихтами орлана, будто на одном месте махавшего огромными крыльями. Ветерок усиливался, забирая по всему озеру. Утки, чувствуя орлана, не взлетали и плавали, ныряя, качаясь корабликами на суетливой ряби. Серёжа, помня правило, встал носом к цели, состворил турпанов и выстрелил. Он видел, что зацепил осыпью одну утку, но она взлетела вместе со всеми, и он ударил по летящей. Турпан, сложив крылья, камнем упал на лёд на стороне, противоположной избушке.

Полоска льда была очень широкой. Серёжа подъехал с пылающим лицом. Утка продолжала трепыхаться, изогнувшись на боку и загребая, чертя лапкой снег, ярко подмокший кровью. Всё это снова счастливо опережало мысли и наполняло трепетом: и что красиво попал по летящей, и что настолько слился с веткой, что уже и не думал о ней. Вдруг тем же круговым охотничьим зрением он увидел на берегу грязно-белое шевеление: это был Пират, видимо, прибежавший на звук выстрела. В деловитом упоении он трусил носом к земле, перемахивая валежины.

Серёжа хотел было быстрее добыть утку, чтоб не мучилась, да и просто ощутить в руке добычу, и он споро погрёб к турпану. Если пристать боком, то весла не хватало, и Серёжа попробовал носом. Ледок по краю был тонким, но, когда он наехал веткой, оказалось, что в него вморожена палка, и нос резко задрался. В ту же секунду молнией прорезало, что сзади неладно. Серёжа быстро оглянулся и, почувствовав задом мокрый холод, увидел, как хлынула вода. Он быстро оттолкнулся и отъехал. Прострелило таким протестом, что он едва не задохнулся от того, что ещё секунду назад всё было настолько прекрасно, а теперь он сидел по зад в воде, её было полветки, и в ней плавала столбиком красная пластиковая гильза. Ружьё, опёртое на переднюю порку, он, аккуратно подтянув, надел на себя. Стараясь не двигаться резко, начал осторожно разворачивать ветку и всё не мог расстаться с развилкой событий, где счастливый вариант продолжал казаться главным, а этот, в котором он застревал, — ошибкой, наваждением. А главный, его правдашнейший путь продолжал удаляться и был на виду, но в недостижимости. И во всей очевидности вставала своя же дурь: “Идиот! Нельзя на ветке носом

на лёд заезжать! Только боком подойдешь!" Особенно досадно было то, что здесь Пиратка, а значит, и Колька, и надо быстрее, чтоб не припозориться, чesать к берегу. Что за наказание! И Пират, как назло, залаял!

На лёд не выбраться — тонкий и человека не выдержит. Значит, надо отчерпаться и угрестись к избушке. Наказаньем за нерадивость незамедлительно поддул ветерок. Серёжа потянулся топором за консервной банкой — её оттащило в нос, она кривлялась в воде и, наконец, зацепилась зубчатым краем крышки за сеть. Он попытался подтянуть её вместе с сетью.

В это время налетел шквал. Закачались разом пихты, заходили, зашлись белой снежной завесой. Народилась, заворачиваясь, частокольная острая волна. Серёжа понимал, что на серёдке она выше, и к избушке не перейти — захлестнёт. Пару раз плескнуло через борт в самой низкой части, в середине, где сидел Серёжа. К скрадку не пробиться — лёд, и Серёжа взялся грести вдоль кромки к Мотыкиной сидушке — она была заморожена в самый край ледяного припая. Ветку стало боком прижимать ко льду, и лёд теперь, когда не надо, оказывался, наоборот, тонким и сминался, дробясь на плиточки. Ветку давило в припаяк. Качало часто и суетливо, било с тупой жестокой силой и начало захлестывать. При всей дикости происходящего не уходило чувство, что всё исправимо, что можно вернуть то прекрасное, которое он так глупо не оправдал... Он пытался держаться носом по волне, наискось ко льду. Волны прокатывались повдоль и были выше бортов... Несколько секунд — и корму захлестнуло.

Ветка оказалась залитой по борта. Серёже не верилось, но она уже уходила под воду. Сапоги залились мгновенно и как-то режуще-ртутно. Он проваливался, вода с ножевой обжигающей бесцеремонностью лезла под мышки. Ветка ещё была под ним, и он её ловил ногами, пытался встать, вытоптать её, а она, играя из стороны в сторону, ускользала, судорожно и замедленно вихляясь, жила уже по подводным законам и, шаткая, уходила всё глубже... И вот он уже барахтается, уже по лицо, и уже в носу и носоглотке жгучее сыворотное ощущение, как в детстве, когда нырнул...

Суконный костюм, свитер, патронташ, ремень, ружьё, фотоаппарат на кожаной петле на шее — всё, такое удобное, стало предавать, сковывать, тянуть ко дну, и было понятно, что в этой выкладке не продержишься. Он знал, что одежда топит, но не ожидал, что настолько. И что придётся так биться. Работать руками, которые проваливаются с упругой прбдрожью, месят по-собачьи беспорядочную холодцовую толщу. Из мгновенных ощущений было ощущение нешутности происходящего именно от этого нелепого беспорядочного барахтанья. И что всё происходило независимо от него и само определяло темп схватки.

Тянуло чугунно вниз, и надо было молотить руками и ногами, и это вычерпывало силы с пугающей скоростью. И только огромный рот дыхательной судорогой цеплялся за воздух, карабкался и соскальзывал с куска сырого неба, за который держался, как за лаз.

Не было никаких положенных мыслей о смерти, никакая жизнь не прошла пред очами огромным мгновением — только звериное барахтанье и короткие мысли-ощущения, мысли-молнии. Барахтался он уже вертикально и в один момент ушёл с головой, так что дрызче и беспощадней рванулась вода в ноздри и уши, и сомкнулись сверху сверкающие серебряные сабельки.

Он вынырнул. Сердце колотилось, как автоматная очередь. Всё существо обратилось в огромное дыхание — в машинного ритма паровозную отсечку. Не остановить, как биение поршня в цилиндре, когда поддали топлива. Не задержать, не перевести дух. Непонятно, где дыхание, где сердце. Отчаянная борьба материй. Рук, лёгких, воды, льда — они главный смысл, а он при них добавкой и ничего не значит, и главное — не лезть, не мешать сердцу, ногам, диафрагме.

Впереди, метрах в пятнадцати от кромки — вмёрзший плот, а совсем недалеко — сидушка от скрадка, чурки, сбитые доской. Чурки хозяйские, такие же толстые, как брёвна избушки. Он и грёб к ним, чувствуя, что дышит не он, а грудь сама качает его рывками, и лёгкие сейчас сорвутся. Он добрался до сидушки и вцепился, и она тут же выломилась из льда.

— Пира-а-ат! Пират, бляха, ко мне! Пира-а-ат! — зачем-то прокричала грудь.

Никогда в жизни, ни в земной, ни в вечной — или так казалось — не испытывал он большего восторга и благодарности... Не было ничего более справедливого, а в эти минуты хотелось именно справедливости... И нигде и никогда во всей неохватной Вселенной не существовало большего чуда, чем звонкий крик:

— Держись, Сергей Иваныч! Я тичас! Держись! Пират, ко мне, сука! Ко мне, ...ля!!!

Колька корячился с лодкой, которую ему было не под силу ни перевернуть, ни утащить к берегу. Её пролило дождём, и на лёд налип снег. Коля гулко колотил топором, отбивал пупырчатую колочую корку. Серёжа всё это знал животным внимательным знанием, и Колькины движения подсчитывались молниеносно кем-то дотошным внутри него, и разрастались до огромных неодолимых событий, отмеряя жизнь. Коля расшатал лодку, вагой через верёвку перевернул и тащил вместе с Пиратом, которого подпрыг, и тот то волок, то ватно замирал, чтобы выкусить блоху:

— Пошёл, но пошёл, ишшак! Ково косисься! Ташшы, падла!

Серёжа держался локтями за середину доски. Большие и тяжёлые чурки с боков были пробиты по диагонали брусом. Серёжа, взбодрённый подмогой, уж развернул свой корабль и направил к избушке, работая ногами, которые уже не чуял, и они густели вместе с водой.

Шквал запал, и медленно стал падать снег. Громадные снежинки летели на чёрную воду, и мысли-ощущения говорили, что это тот снег, которого он ждал. Они падали на Серёжино лицо, одна снежинка залепила глаз, опустилась на веко, как на неживое, и не смаргивалась, а только двигалась вместе с ресницами. И тянула жильно глубь с корягами, и густела вода, и он еле вырывал цепенеющие ноги, шевелил и работал, уже видя вдали серой точкой возящегося Кольку, у которого что-то снова не ладилось. Под моторную колотьбу сердца, почти уже дробь, Серёжа замер отдышаться. И слышал, как снова гулко бьёт Колин топор, продолжая звук сердца.

Серёжа тяжелел. И в этой тяжести тоже была ясность, что тяжесть одолеет и что сил всё меньше, потому что он работает лишь в расчёте на помощь... Серёжа забил ногами, правая чурка, которая держалась на одном гвозде, оторвалась, и плот стал расплзаться. Серёжа снова забарахтался, почти уходя под воду и слыша крик:

— Держись, дья Серёжа, держись!

Коля всю уже грёб к учителю.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Серёжа слёг. Первые два дня, когда была температура сорок, приходила медсестра. Заходил Костя, кормил Храброго. Рассказал, что делает Лёне игрушечное ружьё. “Точная копия винтовки Мосина, один к двум”. Достал из кармана тетрадку: “На вот для интереса — Лёнькино сочинение старое, у них конкурсе был новогодний”.

Всё происходящее, шаги по дому, звуки улицы Серёжа слышал через бессильную и ненавистную болезненную подстёжку. С тем только больному свойственным ощущением, когда кажется, что с ним говорят особенно, переводя с бодрого и сильного языка на какой-то уменьшенный и приглушённый. С подчёркнутой разницей между этим ватным, больным — и тем, здоровым, огромным миром. С чувством бессилия, которое подводит что-то главное в жизни, гасит размах и смысл, заставляя перекусать в носоглотной бесцветной сыворотке. И хуже всего были даже не физические ощущения жара или когда мутит, а порча жизни вокруг. И что она не просто меркнет, а тоже напитывается горкостью, чем-то отжившим.

Произошедшее тоже как-то уравнилось с болезнью, заразилось её тусклостью, смещённостью, и казалось больным и перегорелым. Вспоминалось, как не мог выкарабкаться в лодку, хотя казалось — спасся. И Колька тянул

его, торопил, горячился, но не мог близко встать на борт — лодка маленькая, какая-то обрезанная “казанка”. А Серёжа уже заслужил студёное какое-то спокойствие от знания, что есть силы огромней человека, и спорить с ними бессмысленно. Стараясь уже будто для Кольки, он, отплёвываясь, высипывал, выхрипывал: “Подожди, щас”, — и всё висел, вцепившись в борт. И даже поймал себя на каком-то знакомом замирании и, когда Колька окликнул, встрепенулся, отозвался не с первого раза отрывистым: “А?” — и зачем-то сказал: “Топорику конец”... На что Коля ответил: “Да ладно, сам живой”. А Серёже тепло стало оттого, что Коля сказал не “живой”, а “живой”, будто они на “ты”.

В какой-то сам наступивший момент он собрался, перевалился в лодку, отекая водой с сукна, из сапог и став неимоверно тяжёлым, неповоротливым. Одежда прилегала плотнее, липче и холодила на ветерке. И он стыл, будто вода спала, а спиртовой холод остался и не спеша добирался до тела. В избушке Серёжа выпил коньяка, порадовавшись, что тогда удержался, и всё вспоминая Мотю, который переродился в глазах с его попыткой гульбы. Просушился, как мог, долго отпаивался чаем. Потом дошли до деревни, где Храбрый со свежеспорванным ухом очень приветливо подбежал к хозяйну и повилал хвостом. По дороге Серёжа согрелся даже, а когда растопил печку, взбодрился от домашних дел, но к вечеру почувствовал, что заболевает. Несмотря на тяжесть в глазах и слабость, чистил ружьё, делал всё, что делает здоровый и стараясь этим отвадить хворь. Разбирал одежду, изучал тотально-беспощадное проникновение воды: в кармане куртки спички, сохшиеся мокрым пластом, корка какой-то сложенной вчетверо бумаги с синими строчками.

Першение в горле навязалось ночью. В полусне пытался откашливаться, драл горло будто стружком, каким скоблят ветку. Какая-то донная забота давила, казалась важнейшей, и он просыпался, не понимая, что гнетёт, и всё стремился туда обратно, где его ждут, будто там ещё кто-то, и надо решить что-то важное, и потом, когда отекала сонная пропитка, всплывал, разоблачив свой долг, и оставался стыть с першащим горлом... А утром и глаза, и нос, и горло залились, склеились... Он выходил на улицу, старался продрать пробки ветром, остудить тяжелеющую голову.

Очень огорчило Серёжу, что и на дворе расквасилось, что снег согнало уже во второй раз, подтверждая, что год от года климат портился. Наружная склиз казалась продолжением собственной, и природа текла, хлопала, плавилась и слабела, и тёплый ветер не охлаждал и не прочищал. К вечеру второго дня пошёл жар.

Как сквозь туман он видел, что пришли Валентина Игнатьевна с Лидией Сергеевной. Серёжа, лежавший под покрывалом в рубаше и спортивных штанах, привстал на локтях на кровати.

— Лежите-лежите! Вот мёд вам... — заговорила заботливо Валентина Игнатьевна. — Ну, что же вы так... неосторожно? — и покачала головой.

— Сергей Иванович, вот вам носки тёплые, — сказала Лидия Сергеевна с улыбкой и сморгнула некрашеными ресничками.

Разговорились. Валентина Игнатьевна дала понять, что не афиширует подробности Серёжиного приключения, подразумевая, что тому не хочется, чтобы обсуждали его неопытность. Серёжа возразил, что, наоборот, надо говорить, что мальчишка герой. И что на уроке скажет обязательно. И что для него это опыт огромный: вчера ты помог, а завтра тебя самого, как щенка, выудили...

Валентина Игнатьевна с участием дала понять, что помнит о Серёжиной просьбе-заботе:

— С Антониной пока под вопросом. Ждём ответа по единице. А Константину предложила труд повести. Михаил Матвееч уехал на операцию, долго не будет. Отказался Константин... Говорит, работы по дому много. А мне кажется, что напрасно, всё-таки двое детей. И вот, вы меня не поймёте, а я вам скажу: если б Антонина была в коллективе, она бы его... доконтропушила.

Лидия Сергеевна в это время быстро смахнула крошки со стола, протёрла его и сполоснула грязную кружку. Промыла тряпочку под умывальником и, прозрачно посветлевшую, аккуратно повесила на веревочку над печкой. Потом обе вдруг засобирались, и, уходя, Валентина Игнатьевна положила на протёртый стол пашку:

— Вот ещё посмотрите на досуге, Лидия Сергеевна у нас какие программы придумывает, может, у вас мысли будут...

Пришёл Костя, притащил протёртой смородины (“Тонька послала”) и подколол Серёже дров. Перед уходом долго и смешно рассказывал, как они с Эдей выгуживали аэросани и как их встретила Эдина жена.

На следующий день зашёл Коля:

— Болееете? Вот мать вам передать сказала! — и протянул банку малинового варенья, тёмного, с белёсыми точками косточек. Ещё Коля принёс сочинение и хотел было уйти.

— Ну погоди, не уходи. Оно же не длинное... — удержал его Серёжа. И открыл тетрадь:

*За что я люблю свою собаку.*

*Мою собаку зовут Пират. Он хоть и воровитый, по словам некоторых допотопных, не будем показывать пальцем, но зато помощник, каких поискать. Зимой я запрягаю его в нарточку и вожу на нём воду и дрова. Пират хороший охотник. Однажды я пошёл в тайгу с ружьём моего деда. Иду, погода хмурая. Дует ветер. Туча аж за землю задеёт своими лохмотьями. Навстречу попался след соболя. Пират никогда не искал соболя и сначала погнался пятку. Но потом — молодец! — вернулся и взял след. Вскоре я услышал его лай, слышный плохо из-за ветра. Я шёл по горельнику долго и думал, лишь бы он не замолчал! Он загнал соболя, здорового кота, на кедру. Я выстрелил и попал в соболя, но он застрал в развилке. Топора у меня не было. Я бросил под кедру рукавицы, крикнул Пирату: “Жди сиди!” — и побежал домой за топором. По дороге руки заколели, как колотушки, и я грел их за пазухой. Когда вернулся, Пират сидел на месте и повизгивал на кедру. Наступили сумерки. Я срубил кедру, и Пират бросился к соболю. Надо было, чтоб он его потрепал, хоть и стылого, иначе не затравится. Это был ево первый соболя. Пирата своего я ни на кого не променяю. Я на всю жизнь запомнил этот день. И с тех пор не хожу в тайгу без топора.*

Серёжа поднял глаза, и по ним всё было понятно:

— Молодец... А что такое “пятку погнал”?

— Ну, вот соболя, — начал объяснять Коля, показывая обеими руками, — вот он туда бежит, а Пират туда побежал, а не туда...

— А... ну, в смысле — в другую сторону.

— Ну, в другую сторону, ну, куда духан-то соболёвый слабже... Это в пятку значит. Ну, говорят так.

— Хм... — задумчиво усмехнулся Серёжа, — хорошее слово. Я тоже иногда пятку гоню. А дед как звали?

— Дед Афонча. Афанасий Никифорович.

— А дед Афонча какой был? Расскажи про него... — попросил Серёжа. — Может, фотографию принесёшь? Он воевал?

— Конечно!

— У нас тема будет к Дню Победы. Конкурс сочинений. Сможешь написать?

— Ну чо, можно.

— Дед много рассказывал?

— Ну, рассказывал.

— Чо-нибудь необычное рассказывал?

— Хм... — улыбнулся в воспоминанию Коля, и эта восторженная улыбка так и не сходила с лица, пока он говорил. — Эта... мужики раз рыбачили весной на Долевых озёрах — сети, короче, ставили... И тут вихорь налетел. Дед так и говорил — “вихорь”, ага. А один мужик на ветке едет, она рыбы полная, по борта аж сидит, а вихорь прямо на него прёт в лоб, короче, копец, утопит шас. И он тогда нож из ножней достаёт и в него ка-а-к

кинет — с-с-и-и-и-у! — Коля изобразил, как тот метнул нож. — Тот фюить и убрался под облако. — Коля показал рукой, как он подобрался. — А после этот мужик зимой в зимовье... ну, на охоте... сидит соболя обдирает, слышит — пришёл кто-то, скрипит, юксы снимает. Выходит. Двое мужиков стоят. В куржаке все, аж седе́а. У одного глаз завязан. “Вы чо, мужики?” Ну, этот, у которого глаз, нож протягиват: “На вот нож твой”. А тот стоит, как язык проглотил. Те мужики обули лыжи, пошли — и тут как заморочает, шквал такой ка-ак даст, и снежина как закрутит, загудит, и, дед говорит, подхватил их, и всё, забрал с концами... А утром мужик вышел, солнышко светит — и ни следушка.

— А собаки что? Или он без собак был? — подотошничал Серёжа.

— Дак в том и дело, что собаки вопшэ ни-гу-гу, ни носом, ни ухом, как сидели в кутухах, так и сидят. Токо посапывают. Хоть бы пошевелились, тварюги!

— Ну вот. А я тебе двойку поставил... — сказал Серёжа. — Ты, когда будешь сочинения писать, ты пиши, как ты говоришь, не выдумывай ничего, чтобы там красивей, как в книжке, у тебя и так выходит всё. Ты потому что живёшь... взрослее, чем пишешь.

— Сергей Иванович, а как вы догадались, что я списал?

— Ты бы никогда не сказал “хрюшка”!

— Ну. Ха-ха!

— Я зашёл в мастерскую проверить, почему свет горит, и слышал, как ты про Каштанку... задвигал, что у “клоуна пахать надо, а столяр так накормит”. Если б ты так написал в сочинении, то я тебе бы за одну эту фразу пятак вкатил. Понял?

— Понял, — чётко сказал Коля. — Чо, я пойду? Выздоровливайте...

Серёжа лежал и думал о Ленином сочинении, совсем ещё детском, но богатом по фантазии и уже развлекательном по взрослому счёту, и про Колино, из которого целый рассказ сделал бы Пришвин или Астафьев. Как по-взрослому заботился Коля о том, чтобы затравился Пират на соболя, и переживал, что из-за его разгильдяйства пёс не получит собачьей награды, не потреплет тёплого зверька, не высидит под кедрой, убежит за хозяином следом. И вся наука насмарку...

Ещё думал о том, что Коле обязательно надо написать про деда Афончу. И про этот смерч, вихорь, уносящий в такую даль — и жизненную, и временную. Сюжет известный, конечно, но как можно красиво сказку развернуть, разметать снежной сетью, объять именно здешние места, чтобы каждая кочка ожила, пошевелила нечёсаной травяной макушкой... Серёжа начал засыпать, и дед Афонча явился-заговорил... голосом Концевого Деда: “А Тоньку она возмёт. Возмё-ё-ёт. Я сра-азу понял...” И стал стучать топориком по кедрине...

Это стучал Эдя. И вошёл, не дождавшись ответа.

— Здорово, утопленник! Я тебя лечить пришёл. Карлос в клюкве. Само то от простуды!

Серёжа пошевелился, привстал на койке, проскрипел:

— Заходи. Там стопку возьми. Я не буду. Не полезет.

— Да я сам не буду. Я не в фазе.

— ?

— Заземлился в ноль. Всё напряжение в грунт ушло. Подполье копал: у моей перегруз сети с вылетом пробок. И тарелок. Хожу пригнувшись. Это я тебе. — Он бумкнул Карлоса на стол. — Ну, ты даёшь! Ты чо это решил — Мотьку переиграть? По водному полу. Народ говорит — всё из-за Лидки. Говорят, сватался к ней, а она поворот дала! Двойной тупул с пинком под гузку. — Эдя хитро глянул кедровочим глазом. — Я грю, не на то-го напали, станет он из-за этой кряквы нетерёбляной... в озеро кидаться на зимь глядючи. Он сам селезень, ему жить да жир нагуливать. А я сра-а-азу почувствовал, что неладно, когда гляжу — кобель твой бегаёт. Думаю, чо такое: то сидел-сидел. А тут забегал.

— Ты скажи, что у тебя с аэросанями случилось? — Серёжа воспрям от Эдиных рассказов.

Эдя посмотрел как-то вбок, вниз и в сторону. Потом увидел у Серёжи на столе “Молитвослов”:

— Божественное читаешь? А я тоже летающую тарелку видел... Над Архиповским лужком.

— Да ладно — над лужком. Ты на кухне, поди, видел, вместе с пробками, когда собаки... аэроумывальник твой притащили. Да?

Он снова повёл глазами и сглотнул, как пёс, которому запретили смотреть на пищу.

— Эдя, а ты смерч видел? — сжалился Серёжа.

— Да сто раз.

— Знаешь, чо делать, когда смерч на тебя идёт?

— Псссь. Нож в него метнуть. Дурак знат.

— А почему?

— Он заряд на себя тянет. Разворачиват магнитное поле сто пётдесят градусов. Возвращает фазу. И ликвидирует вредные токи Фуко... А меня, кстати, звали в тарелку обедать. Я не полез. Всё равно они по-нашему не баят. Мне чо обед? Мне общенье нужно. Я вот вспоминаю... Всё-таки путяво мы с тобой под капустку... порассуждали... когда ты плашкот гнал. Эх, хорошее было времечко... Да... Иногда так разговор нужен... А у всех одно на языке: време-е-ни нет. Да на кой лешак мне время, если поговорить не с кем? Ты вот детей учишь... Вот чо такое время?

— Ну... субстанция... — ответил Серёжа, которому не хотелось думать.

— Вот и я говорю — суп с танцами. Не пойми чо. Кусок сыромятины. Намочил — тянется, нагрел — съёжилось. Как визига сущёная... Ладно, пойду, выздоравливай.

“Нагрел — съёжилось, — в каком-то просветлении писал Серёжа в дневнике. — Прямо как у Каратаева про счастье... Та же интонация... Откуда? От-ку-да?! Откуда и куда? Ведь столько лет прошло... А оно действительно сжимается, когда тепло на душе. А когда тоскливо — тянется. Странная штука время. Отец говорит, что в двадцать лет ему казалось, будто в столетии помещается пять человеческих жизней. Пять человек будто лежат во всю длину — от него до Достоевского. Когда был маленьким, при слове “до революции” ему представлялось какая-то далёкая затуманенная пора, а теперь, когда ему шесть десятков, вдруг открыл: оказывается, от его рождения до революции ближе, чем до сегодняшнего дня! Да и я вроде двигаюсь вперёд, а они приблизились, эти русские времена, и стали впритык, чтобы помочь... А Эдя с тарелками какими-то... С космосом... Со всей этой бескрайностью... Не знаю... Наверное, бесконечность Вселенной — это замысел Бога об устройстве мира: каким бы он мог быть, если думать бесконечно. У меня уверенное ощущение, что во Вселенной никакой другой жизни, кроме земной, быть не может. Да и не нужно... Центр Промысла — Земля, а всё, что дальше, — это как картина, где края только обозначены, намечены... и так... упомянуты... на доверии. И дело не в них.

А в нас. Вот мы думаем, что в таком состоянии человечество долго не протянет. И частью души тебе даже хотелось бы, чтоб оно было наказано, чтобы, рушась, ты мог бы прокричать тем, кто не верил: я предупрежда-а-ал, я говори-и-ил, а вы не верили! И пальцем погрозить напоследок... А на самом деле люди могут какое-то время спокойно жить в состоянии, которое тебе кажется невозможным, и вопрос в тебе — насколько ты это выдержишь. Не зря говорится: думай о спасении своей души. Потому что нет ничего страшней, когда твои близкие не видят, как в лоб несётся смерть, смерч, вихорь... Но ты можешь бросить в него нож. Если есть вера. И земля, за которую больно.

Уставшая, тёмная, измученная, на которой зима никак не наступит. Кажется, если она придёт, все сорное засыплет снегом, скроет, оставит лишь главное, снежное, пресветлое. Светящееся, как окно морозным утром, на фоне которого свеча потрескивает и кивает язычком пламени... А с вечера шум ненастья. И снежный ковёр поутру. Пресвятая Богородица, доживу ль до Покрова Твоего?

Как плотно всё устроено. Едва отошла тягота телесная, вступила духовная. Серёжа думал о том, что так и не успел сказать Тоне про разговор с Валентиной Игнатьевной. Часов до четырёх не мог заснуть, а едва задремал, начал лаять Храбрый. Пёс лаял истошно, и на рассвете Серёжа вышел на крыльцо.

Всё было в снегу: трава, репейники, рябинка. Чёрно-белое, удивительно аскетичное. Он оглядел округу: чужих собак не было, только вторил соседский Беркут. Храбрый лаял в угол забора, где барахталось что-то бело-пёстрое. Серёжа побрёл туда в накинутаой фуфайке и калошках. Ноги застредали в полёгшей траве, она, как мостами, схватывала калошки, и было непостижимо, что трава, слабая в отдельной травинке, в жгуте такая сильная.

Серёжа подошёл к сетке, которой был обтянут забор. Под ней в самом низу в бурьяне запуталась полярная сова. С той стороны сетки был утөрчик, просвет, куда она стремилась, рискуя покалечиться. Увидев Серёжу, сильнее забилась и, неловко заломив крыло с мраморным тёмным крапом, глядела на Серёжу жёлтыми глазами. Перо было снежно-белым, а узкий чёрный клюв был густо одет белым пухом. Сова снова затрепыхалась, раскинув крылья, беспомощно распласталась, упала ничком и, повернув голову, раскрыла клюв. Он попробовал её взять: она оказалась очень лёгкая и такая мягкая, что рука провалилась.

— Ну, тихо, тихо, хорошая! Сейчас! Тичас! Тичас... — он так и приговаривал, — тичас...

Больше всего Серёжа боялся, чтобы она ничего себе не *вередила*, ведь Храбрый орал уже несколько часов. “Они же последними откочёвывают, за ними только кречеты. Они уже летят вовсю. Ей давно пора. Наверно, ослабла. Хватит сил-то? Сейчас попробую подбросить, только очень аккуратно надо”. Он почему-то решил, что ей надо не отдохнуть и успокоиться, а наоборот — поскорей попасть к небу, и что полёт её вылечит. Что она от него запитается, а от земного зачахнет. Но видя, какая она воздушная, — сплошной прибор для опоры о небо! — очень боялся повредить о воздух, который может оказаться слишком твёрдым. Боялся, что сломает её, сложит, всю состоящую из крыльев. Что их вывернет, выломает из ослабших мышц, настолько они большие и тонкие в управлении... И бессильные, как всё полётное, которое на земле только на растяжках и выживает, если шквал.

Но и слабо кинуть нельзя, надо как можно выше, чтоб удержалась, вскарбакалась... Чтобы, если сорвётся, успела всё-таки вцепиться в синеву, сизоту. А небо поможет. Но как же кинуть, чтоб её не смяло, — такую невестую, мягкую?

Когда вышел, было ещё серовато и непонятно — дымка ли это от прошедшего снега или просто утренняя сизота, седая поволока. Сейчас сквозь неё проглядывала синева, а на востоке уже вовсю румянилось. Казалось, небо ещё само не решило, каким будет — ясным или дымчатым, и в этом раздумье было ещё больше красоты и покоя. Серёжа взял сову двумя руками аккуратным колышком, уложив, поправив крылья, убедившись, что лежат верно и, заведя из-под низу, изо всех сил кинул в прекрасное сине-сизое небо. Он не успел разглядеть, как именно она летела, кульком ли, расправляясь, но уже замер поражённый: сову буквально вложило в небо. Она с ним совпала. Она легла в него с полнейшей мгновенностью, безо всякой запинки, и в несколько махов унеслась, исчезла, чуть привставая на крыльях и почти сводя их на взмахе за спиной.

Никакого сбоя не случилось, но удар, встряска всё-таки были, и мир содрогнулся и замер на мгновение, но не в небе, а в нём самом. Серёжа ждал, что в нём всё будет ровно, как по нитке, а птица оступится, сорвётся, черпанёт крылами воздух, просядет хоть на долю пространства. Он настолько приготовился к этой ступеньке, вздрогу, что, когда она встала на место с вещей лёгкостью, в *его* душе что-то оступилось. Этой отдачей его буквально шатнуло, и он замер, заморожённый, а потом вышел на высокий угол и несколько минут смотрел в даль, где завязывался ветерок, и с юга белое снеж-

ное полотно нависло над водой линейчато ровно, и вода была особенно серо-свинцовая...

Пошёл снег. Солнце прошивало его серебряным трезвым светом, озаряя тихие травы, полегшие от заморозков и оттепелей. Репейники стояли в снежной опушке, светясь торжественно и переживая, запоминая короткую и несчастную свою красоту. Рябинка была совсем голая, и снежок обводил зернистым контуром её ствол и ветки. Уже в третий раз за это время.

Серёжа вернулся и лёг на койку. Вспоминалось всё разом, но не от близости смерти, а наоборот — от жизни, которая потихоньку раскрывала-настраивала крылья, и он сам, ещё сонно расслабленный, чувствовал за пеленой проходящей болезни её взлетающую силу, и от этого дремотному расслаблению было ещё покойней. Память утратила порядок: одинаково виделось и вчерашнее, и давнишнее. Он думал, если перестало меркнуть давнее, то это жизнь ускорилась, а оказалось — нет, просто всё выстроилось по важности, невзирая на удалённость. Он вспомнил, как ездили к бабушке на Ангару, и отец показывал ему дедовские камушные лыжи с юсками — креплениями из сыромятных ремешков. И как бабушка вздохнула: “Охо-хо, сколь хозяин на них отходил: камасья-то все выбродились... Ой, Святодух Восподней... Когда-то и сама врысю бегала, а таперь обессилела наготово... — она вдруг быстро отвернулась. — Давеча в дивильце глянула...” — и зажмурилась, смяла глаза. Отец вздрогнул тревожно: “Ну что ты, мам?” — и обнял её, а она уткнулась ему в грудь и, задрожав, подхватила-прижала Серёжину голову. Потом Серёже без всякого перехода представилась трава, не дающая сове взлететь и не пускающая в дальний путь, и как шёл к ней, и ноги вязли в травяных арках, как в юсках. Он подумал, что расскажет детишкам о том, какая красота заложена в мире, где они с детства, и который видится чересчур привычным по сравнению с другими, далёкими и потому только притягательными. А потом спросит ребят, что такое дивильце. А они не будут знать. А он ответит, что зеркало.

Как им объяснить, что в языке много разных слов? Что слова, как птички, есть перелётные, а есть свои, зимующие... Почему-то выплыло слово “толерантность” и, мёртвое, упало в снежную траву и не пошевелилось в голове, не щекотнуло крылышко. Серёжа произнёс снова ещё несколько таких же безжизненных слов, несколько раз повторил — ничего не случилось... Никто не трепыхнулся в ясной голове, видно, сова увела навсегда капризную клеточную птичку. Если что и осталось — ресницы Лидии Сергеевны, сделанные из того же материала, что птички крылышки.

Он подумал о своём дворе, заросшем травой, — сколько с ним уже связано. Вспомнил, как стоял под дождём на коленях после схватки в учительской. И как зашёл домой мокрый и зажёл свечу на тёмном окне. И как молился. И его самодельную молитву... Как она начиналась? Как стихотворение: “Я люблю...” Разве можно с “я” молитву начинать? Молитву... Господи, да сегодня ж Покров!

“Укрой, Пресвятая Богородице, мои споры-сомнения. Какая моя душа? И где она была, когда я барахтался в озере? И почему ей так трудно? Почему так несовершенен человек? И достоин ли неба? И не оступится ли?”

А если оступится? Тогда что? Тогда молись! Молись! Молись Пресвятой Богородице... Как о ком? О ком же ещё-то? О ней! О ней самой! О рабе Божией Лидии, чугунная твоя голова! О всех женщинах, которые и в тихие времена, и во времена смуты хотят своей правды, то вяжущей, близкой, натальной, то режущей, как младенческий крик на рассвете. Хотят тепла домашнего и куска хлеба детишкам. И муж чтоб живой да невредимый сидел одесную. И чтобы Тарас Андрия простил. А они сами — и Тараса, и Гоголя. И чтоб Тарас услышал Остапа и крикнул на всю Вселенную: “Слышу!”

“Пресвятая Богородице, прости нас...” Пой Царицу: “Царице моя преблагая...” Пой... Какой напев... удивительный... Как красиво, Господи... Бабушка, ты меня слышишь? И я тебя... А Остапа? Хорошо... Слезы — это хорошо... Вот так... Ну что? Легче? Ведь легче же... Ну, вот и слава Богу... Свечку-то? Свечку сразу надо было зажечь. Ну вот, пускай горит... Потрескивает вместе с печью”.

За окном смеркалось, снег уже привычно белел, но сквозь стекло было не видно, что он продолжал ложиться уже до весны, сеясь рябщей сеткой и укладываясь плотно и крупитчато. Зазвонил телефон, и тихий голос зазвучал:

— Сергей Иваныч, это Екатерина Фроловна. Как вы себя чувствуете? У вас анис есть? Он тут на поляне растёт... Его с чаем хорошо. Ну, ладно, ладно. С Покровом Божьей Матушки вас! Видите, снег как, а то всё упасть не мог... А теперь уж ляжет. Слава Богу. Я что ещё звоню. Я давно хотела Вам спасибо сказать. За те... ваши слова... правильные. Тогда, в учительской... Вы хороший человек. Я вижу. Трудно вам только будет. Но вам надо быть таким. Хотела сказать — “упёртым”, упрямым. Вы справитесь... Я ещё тогда хотела вам сказать: ну, не убивайтесь так... Не убивайтесь... Я же вижу. Может, кто-то и не видит. А я вижу. И у меня сердце болит... А всё управится. Ведь уже было всё. И даже похлеще. Так что поправляйтесь. А я помолюсь. А я, если честно... тут как узнала, что с вами... случилось. Сердце прямо заныло... Это, наверное, материнское... Ой, Господи... И всё спрашиваю сама себя, спрашиваю: ну, как же так? Как же вы так неосторожно? Вы уж вперёд, правда, аккуратней будьте. Берегите себя. — Она замолчала, а потом сказала негромко и будто решившись:

— Вам ещё до директора дожить надо.